

Сергей Литвинов

ДВЕ НОВЕЛЛЫ

СМЕРТЬ ОТМЕНЯЕТСЯ

В этом варианте Вселенной маршал Жуков в 1957 году поддержал не Хрущева, а заговорщиков.

К власти пришел дуумвират: Молотов и Жуков.

Никиту Хрущева расстреляли, а Жукова вскоре отправили в почетную отставку. У власти воцарился Молотов.

В СССР снова установилась диктатура сталинского типа. Границы полностью закрыли, и никакой второй волны оттепели не случилось.

Сталин продолжал лежать в Мавзолее.

А в апреле 1961 года весь мир оказался ошеломлен: нет, в космос никто не полетел, зато Советский Союз объявил о создании БЕССМЕРТИЯ.

Петр Богатов, старший инспектор уголовного розыска. 1975 год, 20 мая.

Телефонный звонок разбудил меня в пять утра.

Так и есть: дежурный по управлению.

Я всегда на ночь переносил аппарат на тумбочку рядом с тахтой. Именно на такие случаи. Иногда удавалось отбояриться от срочного выезда и снова нырнуть в объятия Морфея.

Но, как я сразу почувствовал, не в этот раз.

Голос Ивана Фомичева, дежурного по управлению, звучал взволнованно.

— Петька, у нас убийство.

— Бывает. Я при чем?

— На Кутузовском, в номенклатурном доме.

— Все равно это не повод названивать мне в пять утра.

— Убитый — бессмертный.

— Пфф. Это меняет дело. А соседи не хотят забрать себе историю?

Соседями на нашем жаргоне звались сотрудники КГБ при Совете министров СССР.

— Я им сообщил, конечно. А как там дальше — не нам с тобой решать. Поэтому твое присутствие обязательно.

— Еду. Диктуй адрес.

Блокнот с авторучкой я тоже всегда держал, на такие случаи, под рукой — на тумбочке.

— За тобой машину прислать?

— Сам доберусь. — Не любил я всех этих муровских машин с болтливыми водителями, не любил зависеть от кого бы то ни было.

Я побрился электробритвой «Харьков», а потом сунул ее в дипломат — кто знает, на сколько придется задержаться.

Потом решил, что я все-таки не салага-стажер, а старший инспектор МУРа, вприпрыжку бежать не обязан и пошел на кухню завтракать. Смолол кофе, сварил его в турке, покрепче, на шесть ложечек. Забацал яишню и отлакировал полтавской полукопченой — как раз вчера давали в заказе.

Я минуту поколебался, на чем ехать. Метро от моего дома под бомом, но на Кутузовский, 24 (такой был адрес места происшествия) от «Киевской» или пешком пилить, или автобуса дожидаться. Поэтому, в итоге, сделал выбор в пользу личного транспорта.

Оделся. Очень удачно получилось, что лучшую рубашку, «гэдэровскую», с планочкой, вчера как раз погладил. Галстучек, конечно, обязателен — все-таки выезд на труп, и, не ровен час, *sosedi* пожалуют. И начальство.

Спустился на лифте. Несмотря на ранний час, газеты в почтовый ящик уже бросили. Я выписывал «Правду» — это обязателька, невзирая даже на то, что я беспартийный, — и еще «Советский спорт», право на эту я выиграл в лотерею, давали одну на отдел. Мы договорились с Женькой Коробкиным, которому не повезло, что я буду прочитывать «Спорт» по утрам в метро, а потом на службе отдавать ему. Сегодня, похоже, такую рокировку не сыграть — недосуг в машине читать, некогда с ним пересекаться.

Дверь нашего подъезда, как всегда, была распахнута настежь. Дом у нас рабоче-крестьянский, консьержка не положена. Временами домовые активисты поднимали волну: живем рядом с метро и электричкой, постоянно к нам шастают на троих соображать. Чтоб от алкашей отгородиться, мы скидывались, ставили внизу замок,

раздавали всем жильцам ключи. Потом дело шло по стандартной схеме: кто-то ключ терял, замок взламывали — и снова подъезд стоял неприкаемый. Именно такое время переживалось теперь.

А я до сих пор радовался, что мне дали однокомнатную фатеру. После развода, как честный человек, я оставил жене и сыну нашу «двушку» и три года скитался по съемным квартирам, пока наконец в управлении ни сжалились и наш генерал не подписал личное письмо в Моссовет. Да ведь и в новом фонде однокомнатные квартиры — редкость, не рассчитана советская жилищная программа на холостяков. Вот нашлась, 23-метровая, в двенадцатизэтажной башне, на пересечении всех дорог.

От автобусной остановки к станциям метро и электрички спешили невыспавшиеся люди. Равнодушно обтекали площадь с тремя великими. Три фигуры стояли клином: впереди Ленин, за ним — Сталин и Молотов. Памятник был типовой, аналогичные по композиции располагались во многих областных и районных центрах. У постамента лежал небольшой венок, оставшийся после Первомая, уже слегка выцветший.

До моего гаража идти дальше, чем до метро — и в том имелся существенный минус, когда выбираешь личный транспорт, а не общественный. Но оставлять свою «ласточку» на ночь возле дома было безумием. Ладно, «дворники» и наружные зеркала у меня съемные, я их, если паркуюсь не в гараже, забираю от лихих людей. Колеса на секретках — тоже быстро не снимут. Но могут ведь вскрыть капот, утащить аккумулятор, стартер, карбюратор, трамблер, провода силовые: все в дефиците. И сам лимузин запросто угонят. Нет, на 58-м году советской власти гараж для москвича — штука необходимейшая.

Я открыл дверь своего бокса, увидел крошку, и на сердце у меня потеплело. «Жигули», но не стандартная «единичка», а более новая «одиннадцатая» модель, с отражателями в задних фонарях, стильными вентиляционными решеточками в боковинах. Правда, цвет подкачал — радикально зеленый, но в наших условиях мало кто, кроме торгашей и бессмертных, имеет привилегию колер выбирать. И без того три года на очереди в управлении стоял.

Я открыл багажник, положил туда дипломат. Привычка не держать ценные вещи на виду сформировалась у меня после происшествия прошлым летом. Выскочил я тогда буквально на пять минут — мороженое купить, а кейс оплошно оставил в салоне. Когда

вернулся — авто вскрыто, портфеля нет. Я, честно говоря, в тот раз даже в районное отделение не поехал, заявление писать. Дипломат, ценой сорок рублей, конечно, жалко. Но, кроме газеты «Правда», прочитанного «Спорта» и абсолютно лажовой книги Аркадия Первенцева, ничего в нем не было. И зачем на ребят в отделении лишнюю головную боль вешать — все равно грабителя не найдут, будет им, по моей милости, висяк.

Я выкатился задним ходом из гаража, вышел, закрыл железные створки, навесил замок. Выехал на улицу Красный Казанец и промчался мимо метро «Ждановская» и памятника трем вождям. Народ к станции, с автобусов и троллейбусов, шел гуще. Возле платформы «Вешняки» я переехал по эстакаде на другую сторону железки и понесся дальше, к Волгоградскому проспекту. Скорость сразу увеличил до максимума. «Гаишники» по утрам особо не активничают, а даже если остановят — не будут *сотрудника*, да еще спешащего на убийство, мытарить.

Радио в авто я пока не обзавелся — дефицит, да и дорого. И оставалось мне, по ходу дела, думать разные думы.

В эту пятницу мне предстояла очередная плановая исповедь в райкоме. И хотя я ни на секунду не верил, что меня когда-нибудь сочтут ценным кадром и допустят до Жеребьевки, — но порядок есть порядок, раз в два месяца приходилось являться как штык, что-то бубнить исповеднику. Хорошо бы, размечтался я, нынешнее дело меня закрутило, и тогда появится легальная возможность отсрочить мероприятие на месяц — а там и сезон отпусков, мой райкомовский инструктор может уехать отдыхать, в какой-нибудь санаторий «Сочи», или что ему там по номенклатуре положено. Сколько ни встречал я нормальных ребят (и девочек) — никто в перспективность исповедей для рядовых граждан не верил. И морковка в виде возможной вечной жизни действовала только на совсем уж ограниченных и ушибленных пропагандой товарищей. Иное дело власти: через эти заслушивания они получали полную картину настроений, мыслей, деяний подведомственного им населения.

Никто меня не остановил, и я подумал: а вот этот проезд со скоростью сто двадцать по утренним улицам родной столицы — о нем следует рассказывать исповеднику? С одной стороны, явное нарушение морального кодекса строителя коммунизма, будущего общества полного бессмертия. А с другой, я спешу по делу. Наверное, придет-

ся поведать, утаивание на исповеди — один из самых тяжелых грехов, а там уж пусть они сами решают, снимать ли мне баллы за эту выходку или нет.

На машине все-таки получалось на круг быстрее, чем на метро. Пробок в СССР, в отличие от стран капитализма, не водится. Я просквозил по Садовому, а тут и Кутузовский. На перекрестке, где Дорогомиловская вливается в Кутузовский — опять памятник, аналогичный по композиции: Ленин—Сталин—Молотов шествуют куда-то вдаль.

В том доме, что назвал мне Ванька, въезд во двор был открыт. Я заехал и припарковался у искомого подъезда, рядом с чьим-то старинным и пыльным «кадиллаком» по моде пятидесятых годов. Стояли тут и «раковая шейка» из отделения, и хорошо знакомая мне черная «волга» из управления. Шофер сидел в салоне, чинно читал растрепанную книжку, похожую на библиотечный детектив. Я не стал его беспокоить.

И никакого больше авто, выглядящего официально. Ни одного транспортного средства, на котором могли сюда добраться «кагебэшники». А ведь еще одна черная «волжанка» тут по композиции сама собой подразумевалась. Странно: смежники проигнорировали преступление, что ли? Насильственную смерть бессмертного?

В подъезде тоже, невзирая на элитный Кутузовский, как и в моем колхозно-лимитовском доме на Ждановской, не было ни консьержки, ни запоров. Я поднялся на лифте на пятый этаж. Дверь мне открыл Вадик, которого угораздило сегодня дежурить в составе опергруппы. В коридоре топталась пара понятых.

— Введи меня в курс, — попросил я товарища.

— Пойдем.

В кухне эксперт, тоже мне смутно знакомый, описывал труп. Сержант по его команде приподнимал и держал голову убиенного. Лицо мильтона было белым. Да, с трупами родной милиции приходится встречаться, слава богу, нечасто. У нас тут не Чикаго.

Я кивнул эксперту.

Тихо, чтобы не мешать, Вадик стал рассказывать:

— Труп сидел за накрытым наскоро столом. Как видишь: коньячок армянский пять звезд, лимончик, сыр, яблоки, клубника. Две рюмки, две тарелки. Пулевое отверстие во лбу. Упал прямо на стол. Здесь же, на столе, валялся пистолет. «Макаров».

— Самоубийство?

— Пойдем.

Вадик утащил меня в комнату. Ясно зачем: чтобы эксперт с сержантом не услышали лишнего. Здесь, в большой комнате с высокими потолками, все стены были уставлены полками с книгами. Я огляделся: много имелось технической литературы, с диковинными названиями, в том числе по-английски и по-немецки. Но и модные вещи, типа «Декамерона» или сборника Ахматовой, тоже присутствовали — сто процентов, имел товарищ доступ к спискам книжной экспедиции, отмечал галочками дефицит, и ему заказанное привозили прямо на службу. Значит, явно не простой человек — номенклатура.

На одной из ручек книжного шкафа висел аккуратный черный костюм с черным же галстуком и белой рубашкой — словно человек его самому себе на похороны приготовил.

Я кивнул на одежду:

— Суицид?

— Ты слышал когда-нибудь, что бессмертные с собой кончали?

— Нет. Но их и убивают нечасто.

И это тоже была правда. За бессмертного гарантированно давали вышку, причем без права помилования, и урки, например, прекрасно об этом знали. Да и обычные обыватели догадывались, что снисхождения не будет, если кто покусится на высшую касту.

— Может, собутыльник — или кто там в него стрелял? — не знал, что убиенный — бессмертный? Кто он вообще такой? Что из себя представляет?

— Гарбузов Андрей Афанасьевич. Сорок восемь лет, академик, доктор технических наук, герой соцтруда. Женат. Супруга в данный момент на даче — сидит с внучкой. Участковый сейчас звонит туда, извещает.

И впрямь: откуда-то из другой комнаты слышалось бубнение.

— За какие заслуги стал бессмертным?

— Ты же знаешь, история обычно это умалчивает. Подозреваю, как в совсекретных указах пишется, «за создание и совершенствование ракетно-ядерного щита нашей Родины». А, может, ему просто в Жеребьевке повезло.

Из соседней комнаты вышел участковый — немолодой полный майор в форме. Фуражку держал в руке и вытирал платком пот с лица. Увидел меня, кивнул:

— Здравия желаю.

— Как там вдова? — спросил я его.

— Какая вдова?

— А вы с кем сейчас говорили?

— А, ну да, с бывшей женой. Вдовой, значит. Плачет, конечно. Похоже, что не знала ничего.

— Кто сообщил в органы об убийстве?

— Соседи позвонили. Слышали выстрел, около двенадцати ночи.

— Какие соседи?

— Из квартиры генерала Васильцова. Они здесь рядом, через стену практически, проживают.

— Из квартиры звонили, говорите? Кто конкретно звонил? Он сам, генерал? Или жена? Или прислуга?

— Не могу знать, звонили не мне, а прямо в отделение.

— Как вы в квартиру убиенного вошли?

— Входная дверь не заперта была. Замок французский, закрывается снаружи.

— А кто мог быть у убитого в гостях?

— Не могу знать! Я его связей не отрабатывал, не моя номенклатура.

— Кто у вас тут в подъезде проживает интересный? Кроме генерала Васильцова? Кто мог бы к трупу в гости пожаловать из соседей?

— Одну секундочку.

Участковый полез в свою папку на молнии, вынул оттуда толстую тетрадь за 48 копеек, полистал, открыл на нужной странице, протянул мне. Там были аккуратно переписаны все жильцы всех квартир подъезда: пол, возраст, место работы. И в самом конце строчки — самый интересный столбик: в чем предосудительном бывал замечен. Подъезд был не весь номенклатурный, а смешанный, и кое-какие квартиры даже числились коммунальными. И профессии граждан случались самые что ни на есть земные: слесарь шестого разряда, медсестра, продавец. В качестве порочащих моментов в примечаниях в основном значилось пьянство.

Например, у генерал-майора в отставке Васильцова было замечено то-оненьким карандашиком: «Выпивает. Бывают скандалы с супругой».

А у жены его, Веры Петровны, которая почти на двадцать лет была генерала моложе, замечалось: «Погуливает. На этой почве случаются скандалы с мужем».

— Во-от, — заметил я удовлетворенно майору. — Вы говорите: не ваша номенклатура. А у вас тут, оказывается, птица не прошмыгнет, мышь не пролетит.

Участковый польщенно зарделся.

— Может, это она, соседка? — размышлял я вслух. — Васильцова Вера Петровна в гостях у нашего убиенного ночью-то была? А муж генерал ее за этим занятием накрыл? За распитием спиртных напитков с академиком? Да в порыве ревности соперника застрелил?

Участковый в ответ на мои умопостроения подобострастно молчал.

Я пролистал тетрадь со списком граждан. Глаза наткнулись на проживающую в одиночестве этажом ниже Марию Крону, тридцати пяти лет, актрису театра на Таганке. А также на примечанье по ее поводу, сделанное округлым почерком участкового: «Выпивает. Часто бывают мужчины в гостях, разные. Бывает, громко кричат во внеурочное время. Случаются также шумные половые сношения».

— А, может, наоборот, эта актрисулька с Таганки с убиенным вчера пиновала, а?

— Токмо зачем ей его убивать? — философски откликнулся Вадик.

— Всякие конфигурации случаются, если коньячок... Обида, ревность, месть. Ладно. Облегчу-ка я вам дальнейший поквартирный обход. Если понадобится, я у генерала Васильцова, в пятьдесят третьей.

Я вышел в гулкий и прохладный подъезд, позвонил в соседнюю квартиру.

Мне нравилась манера наших советских людей: обычно отпирали без спроса, без «Кто там?», и даже цепочку редко кто накидывал, и в глазки мало кто смотрел — да и немного их было, тех глазков. Я вот себе поставил, а надо мной гости посмеивались: буржуй, товарищам не доверяешь. Вот и теперь — дверь немедленно распахнулась на всю ширину. На пороге стояла пергидрольная блондинка лет сорока, в атласном алом халатике и комнатных туфлях на каблучке. Ее легко можно было представить проводящей досуг с секретным 48-летним конструктором. Особенно если учесть, что мужу ее, генералу, 65.

Я представился по форме, удостоверение показал.

— Пройти можно?

— Муж спит. У него прям приступ сердечный случился со всеми этими происшествиями.

Она быстренько выскользнула на лестничную площадку и дверь в свою квартиру, где генерал почивал, от греха прикрыла. И взгляды Веры Петровны, каким она меня оценила — сверху донизу — был таким, знаете ли, очень женским, примеряющимся.

— Это вы позвонили сегодня ночью в милицию по поводу стрельбы у соседей?

— Не я, муж. Он услышал выстрел, он и позвонил.

— А в квартире у соседа вы вчера были?

— Я? С какой стати?

— Стол у него там на двоих накрыт. А вы соседка ближайшая.

Васильцова чуть не зашипела от злости, аки рассерженная кошка:

— Нечего на меня наговаривать! Не была я у него вчера!

— А вообще — захаживали?

— Ну, по-соседски иногда. Соль там, если кончится, или спички.

— То есть в половую связь с убитым вы никогда не вступали?

Мне показалось, что она сейчас вцепится мне в глаза своими от-маникюрными ноготками — а что, запросто могла, если судить по виду и речи. Кто она там, по происхождению: буфетчица, подавальщица, кастелянша? Где ее подцепил фронтовик генерал Васильцов?

— Не было у меня с убитым никогда ничего!

— Хорошо, я верю вам, верю. А вы-то вчера выстрел слышали?

— Да! Был какой-то хлопок. Мы кефир пили, когда мой генерал говорит: слышишь, Вера, кажется, стреляют. И кажется, у соседей. Ну, я ему и сказала сразу в милицию позвонить.

«Кефир пили» — это была хорошая деталь, которая сразу вызвала доверие к рассказу.

— А кто еще из соседей мог к академику в гости приходиться? Артистка Кронина, например, с четвертого этажа?

Лицо генеральской женки снова перекошилось.

— Машка — шлюха еще та. Но я свечки не держала. И не знаю, что у нее там с академиком... И была ли она вчера у него? Вы сами у ней спросите.

— Спрошу, конечно. А вы знали вообще, что убитый — бессмертный?

— Конечно. Он особо не афишировал, не хвастался, но и не скрывал.

— Ладно. Если понадобится официальный допрос, мы вас вызовем повесткой.

— Я не против.

— Против, не против — прийти в любом случае придется.

Я заглянул назад в квартиру убиенного, где заканчивали описывать труп и результаты осмотра места происшествия, и сказал Вадиму, что спущусь на этаж ниже, к артистке Крониной.

За дверью молодой женщины грохотала музыка. Я прислушался и определил, что это — западный неодолимый рок, опера «Иисус Христос — суперзвезда». Меня по этому поводу сынуля натаскивал, хоть я и говорил ему тысячу раз, что доведет его любовь к ненашей музыке до цугундера, а он все равно: ах, битлы; ах, роллинги; ах, свинцовые цепеллины. Где-то доставал, за огромные деньги, катушки с записями или пласти фирменные, переписывал на свой магнитофон, делился с друзьями. Позиция властей по поводу рока четкостью не отличалась: и не запрещалось строго-настрога, но и не одобрялось. Понятно, что в райкоме на исповеди любовью к зарубежной музыке хвастать не будешь и любое прослушивание тебе в минус идет, — но и такого, чтобы бобины-катушки иноземные изымать, как книги запрещенные, заведено не было.

Я позвонил в дверь к актрисе — раз, другой, третий.

Наконец, музыку выключили, и на пороге возникла хозяйка.

Понятно, почему лицо генеральши при упоминании о ней искажало — артистка ей, конечно, сотню очков вперед могла дать. Худенькая, маленькая, с тонкими чертами лица, в брючках и блузочке, она выглядела интеллигентной и даже одухотворенной. И — большущие бархатные глаза. Правда, при этом вокруг нее распространялся явный алкогольный дух. Но пахло не примитивным портвейном или пивом — коньяком. Притом не старыми вчерашними дрожжами — новой, утренней выпивкой. Хотя и десяти еще не пробил.

— Проходите, — посторонилась крошка, когда я представился. Голос у нее тоже был бархатный — хорошо поставленный и глубокий. — Вы сыщик. Как интересно.

Она провела меня на кухню. Планировка оказалось в точности такая, как в квартире убитого, только отделано все по-модному: обшито деревом, словно в избе. А на стене — лапти висят. И большой деревянный ковш — кажется, он братина называется. На столе — опять-таки бутылка коньяка. Только рюмка одна. А еще: баночка шпрот и маслины. Интересно, где она маслины достала? Сроду я их в магазинах не видел, и в заказах нам не давали. Может, у артистов

заказы такие особенные? Или блат у нее где-нибудь непосредственно в Елисейском гастрономе?

— Выпьете со мной? — Приглашение, сделанное грудным и низким голосом, прозвучало столь вдохновляюще, что захотелось ему последовать.

— Не могу. Я на работе. И за рулем.

— Вы же милицанэр. Вас никакой поставой не остановит. А оставит — вы отбрешетесь.

— А вы что же? Выпиваете с утра? Не работаете сегодня? Выходной у вас?

— Репетиции нет. А до спектакля отмокну. Садитесь. Я сделаю вам чая, раз вы серьезными напитками манкируете.

Она сосредоточенно подожгла спичкой газовую горелку.

— Мария, что вы делали вчера вечером?

— Спектакль играла. — И она кивнула на большую афишу, что висела на одном гвозде прямо тут, на кухне. На афише большими буквами значилось: «ГАМЛЕТ» и она, Мария Кронина, третьей или четвертой в числе действующих лиц — наверное, Офелия. А может, королева-мать, Гертруда. По возрасту, конечно, скорее, Офелия. Но в современном театре все может быть.

— Хорошо принимали?

— Удастся до сих пор собирать обломки, — заметила девушка глубокомысленно.

— Вы о чем это? — совершенно не понял я, что гражданка имеет в виду.

— Актеры, конечно, пострадали от советской власти, но не так, чтобы сильно. Но вот все, что вокруг!.. И без того мало кто отличался гигантским ростом, а как в итоге все совсем измельчало! Налейте мне уже коньяку.

Я послушно наполнил ее рюмку — вообще девушка обладала удивительной способностью внушать, обаять. Я пожалел, что отказался выпивать с нею. Было бы неплохо забыться с такой крошкой.

Онахватила коньяку, без закуски.

— Вы, наверное, знаете, чей самый лучший перевод «Гамлета»? Правильно, Пастернака. Но Пастернака в пятьдесят девятом расстреляли, отсюда все произведения его — вне закона. Вы об этом знали? Не знали?

А тут и чайник засвистел, изошелся паром, и Мария бросила в заварной чайник три ложки индийского, «со слонем».

— А поэты? Композиторы? Исполнители? Режиссеры? Знаете ли вы, мой дорогой милицанэр, что в тысяча девятьсот двадцать втором году советское правительство выслало из молодой республики Советов целый «философский пароход»? — Я не ведал, правда ли это, а, может, антисоветские домыслы, и развел руками. — А то, что сорок лет спустя, в шестьдесят втором наши руководители выслали на Запад целый *творческий самолет*, — знали? Режиссеров, поэтов, писателей, композиторов? И да, толику актеров вместе с ними тоже, до кучи? Все отборных: Тарковского, Ромма, Чухрая, Калатозова, Хуциева, Рязанова Эльдара? Высоцкого, Галича, Окуджаву? Солженицына, Виктора Некрасова, Искандера, Аксенова, Вознесенского, Слуцкого Бориса?.. Что, правда, не знали? И не ведаете, как чекисты и цэкисты этим советское искусство обескровили? И как эти люди высланные, сейчас там, в Америке и во Франции, на благо Запада успешно работают? Вы, может, по ночам и Би-би-си с Голосом Америки не слушаете?

— Остановитесь, Мария! — сделал я предостерегающий жест. — А то мне на ближайшей исповеди в райкоме придется вас, как это называется, застучать.

— Ууу, исповедь! Фу. Вы серьезно к этому относитесь? И ходите в райком? И несете там эту пургу, сами себя закладываете? Еще раз фу! А кажетесь приличным человеком!.. Ладно, я умолкаю. Пейте свой чай.

— Да, куда-то наш разговор не туда свернул. Что вы, говорите, вчера после спектакля делали?

— На такси и сразу домой.

— Спешили? Зачем?

— Хотела успеть, если честно, к Гарбузову заскочить.

— Вот как? Зачем вам было к убиенному заскакивать?

— Он классный. Веселый, остроумный, милый, глубокий. С ним так хорошо! *Было* — хорошо. И я надеялась — порой, в глубокой тайне, — что он бросит свою гримзу и женится на мне. Черт, я все утро пью за упокой его души. Видишь, сыщик, и бессмертие ему не помогло.

— А откуда вы узнали, что он мертв?

— Мне эта хабалка, Верка Васильцова, шепнула. Жена генерала, с их площадки. Гадина. Все про всех всегда знает.

— Может, это она его убила?

— Ой, нет. Мотива не было, да и смелости бы ей не хватило.

— А, может, это сделали вы?

— А, я теперь подозреваемая! И поэтому вы мне больше не наливаете! И мне приходится с пустой рюмкой сидеть? Вы, что же, сыщик, не знаете, что подливать спиртное дамам — это привилегия и пре-ро-га-тива мужчин?

Я послушно нацедил ей еще армянского.

Она пригубила.

— Так все-таки? — настаивал я. — Вы спешили вчера вечером к себе домой, чтобы посетить Гарбузова. И — ?..

— К большому сожалению, он не мог меня принять. Он меня, грубо говоря, послал. Потому что к нему приехал его какой-то важный и любимый друг. Мужского, как он сказал, пола — и я ему поверила. Вообще-то Гарбузов не из тех, кто врет... Но кто он такой, этот друг, я не знаю. — При этом актрисуля сделала округлый жест в потолок, будто бы весь наш разговор кем-то записывается и поэтому ей приходится выбирать слова и выражения. — Да, не ведаю ни имени дружка Гарбузова, ни звания его. — А сама меж тем оторвала нижний край афиши, достала из ящика кухонного стола химический карандаш и написала на обороте: «Лев Станюкович, доктор биологических наук, приехал из Удельного». Протянула обрывочек этот мне.

— Значит, вы *не знаете*, с кем Гарбузов собирался встретиться? — спросил я, потрясая бумажечкой.

— Ведать не ведаю, — отвечала она, мелко кивая: мол, он этот, записанный ею гражданин.

Я хоть и считал, что конспирация излишняя: кому, интересно, придет в голову *писать* какую-то актрисульку, да не из самого заметного театра, — но игру девушки принял.

— Значит, именно с этим *неизвестным* Гарбузов вчера ночью встречался? И выпивал с ним?

— Именно.

Я знал, что такое «Удельное», о котором упомянула Мария: абсолютно закрытый и секретный город в дальнем Подмоскowie, на границе с Владимирской областью, где проводились и проводятся основные научные, исследовательские и экспериментальные работы по обеспечению бессмертия.

— Может, вы, случайно, знаете, где этот неизвестный остановился? Где сейчас проживает? Дома у себя в Москве или в гостинице?

— Не имею ни малейшего понятия.

— Значит, вы утверждаете, что именно с этим *неизвестным* академик Гарбузов провел вчерашний вечер? И, возможно, тот его убил?

— Или после их разговора Гарбузов убил себя сам.

— Спасибо. Вы очень помогли следствию.

Я встал.

— Подождите. В театр сходить хотите?

— Не знаю. Нет, наверное. Дел много.

— Когда с делами покончите, тогда и пойдете. Контрамарка всегда будет вас ждать. Только позвоните, хотя бы за день. Телефон у меня простой, как специально, чтобы поклонники лучше запоминали и чаще звонили. Впрочем, от них и без того отбоя нет. А выбрать некого... Итак, мой номер: двести сорок три — сорок три — тридцать четыре. Сразу запомните и навсегда. Меня вообще никто по жизни не забывает, сыщик.

— Ладно, я буду иметь в виду ваше милое приглашение.

«А почему нет, — подумал я, — когда, конечно, это дело кончится. Жены у меня давно нет, да и девушки постоянной тоже. Можно пощекотать свои нервы связью с пьющей актриской».

Я вернулся в квартиру с трупом. И его, и место происшествия уже описали и укладывали убиенного на носилки.

Я спросил у эксперта:

— Какие выводы? Убийство? Или он сам?

— Выстрел произведен с очень близкого расстояния. Пороховые газы оставили отметины вокруг входного отверстия.

— Значит, самоубийство?

— Лоб — нехарактерное место для самострела. Неудобное — самому себе в него палить. Обычно суицидники в сердце стреляют или в рот. Так что, может, и кто-то другой бабахнул — с очень близкого расстояния.

— Какой твой выбор? Какова вероятность того или другого события?

— По расположению входного отверстия — процентов шестьдесят-семьдесят за самоубийство.

— Понял тебя. А сейчас мне нужен телефон.

— Пользуйся.

Майор-участковый проводил меня в спальню Гарбузова, где на тумбочке у кровати, совсем как у меня, стоял аппарат. Правда, спальня у академика оказалась не в пример больше моей: и в ширину, и в высоту, и в длину. Вот только наслаждаться ею он больше не сможет.

Первым делом я позвонил в ЦАБ — центральное адресное бюро, назвал свой пароль — у нас, у первого отдела МУРа, он был запоминающийся и со значением: «Серый волк». Спросил адрес по прописке гражданина Станюковича Льва. Через минуту мне ответили: таковой не значится. Я с подобным уже сталкивался, и это, возможно, означало, что уровень секретности товарища Станюковича таков, что даже мне, с моим допуском, не дозволено знать, где он прописан.

Хорошо. Но если он приходил вчера поздним вечером к Гарбузову, вряд ли затем в ночь отправился за триста километров к себе в Удельную. Наверное, остановился где-то здесь, в Москве.

Я позвонил в одноименную гостиницу, то есть «Москву», на проспекте Маркса. Представился. Станюковича поискали в списках — но нет, не нашли. Тогда я перебрался на «Россию». И, о радость: да, сказали мне, такой товарищ зарегистрирован. Номер шестьсот одиннадцать, телефон такой-то.

Исходя из показаний актрисульки Крониной, к гражданину Станюковичу можно уже было ехать с нарядом и арестовывать. Но доктор биологических наук — это вам совсем не вор в законе. Вряд ли далеко убежит. Ничего страшного не случится, если я с ним предварительно побеседую. Кое-что проясню.

Я попросил портье соединить меня с комнатой, где проживал товарищ Станюкович. Тот оказался в номере и мне ответил. Я представился. Ученый переспросил, почему вдруг такой интерес у уголовно-го розыска к его персоне. Я ответил вопросом:

— Вы вчера встречались с академиком Гарбузовым?

— Было дело. С ним что-то случилось? Что конкретно?

— Я могу рассказать вам только при встрече.

— Вот как? Можете тогда сами приехать ко мне в гостиницу? Я, к сожалению, ограничен во времени. Прямо сейчас у меня небольшая встреча, здесь в отеле, а потом я готов увидеться с вами. Час дня вас устроит?

— Где?

— Давайте под открытым небом. Погода хорошая, прогуляемся. А сойдемся, например, у входа в кинотеатр «Зарядье».

— Идет. В час дня у «Зарядья».

Ничто в разговоре Станюковича не выказывало, что он как-то замешан в убийстве: ни волнения, ни страха. Выглядело, будто добропорядочный советский гражданин хочет оказать максимальное содействие органам.

Пока я разговаривал по телефону из спальни, прибыла труповозка, и теперь двое санитаров выносили из квартиры на носилках покрытое простыней тело.

Я попрощался с сотрудниками и сбежал вниз по лестнице.

До встречи у кино «Зарядье», которое, как известно, находится рядом с гостиницей «Россия», практически сопряжено с ним, оставалось еще полтора часа. Я сел за руль своей «ласточки» и не спеша вырулил на Кутузовский проспект. Развернулся у Москва-реки и гостиницы «Украина», потом промчался по Калининскому, затем по проспекту Маркса мимо Манежа и Кремля — и менее чем через полчаса оказался на Солянке. Завтракал я, когда еще не было шести, поэтому заглянул в любимую рюмочную и заказал там бутерброды: с яйцом, килькой и корейкой. Водки брать, естественно, не стал. В рюмочной было шумно, многие курили, и классовый состав посетителей выглядел разношерстным: и закончившие смену таксисты, и сантехники в спецовках, и журналисты из близлежащей «Советской торговли», и даже, похоже, инструктора из рядом расположенного ЦК партии или тому подобные ответственные работники.

Ни с кем не вступая в контакт, я сжевал свои бутерброды, запил березовым соком и перебазировался, вместе со своей «ласточкой», поближе ко входу в «Россию». Остановился на пандусе, ведущем к въезду — вообще-то останавливаться там запрещалось, об этом и знак извещал, и после колебаний ко мне даже подошел дежурный милиционерик. Ему я предъявил свои корочки и сказал, что запарковался ради оперативной необходимости — тот с уважением отошел. На самом деле, мне хотелось заранее посмотреть на Станюковича — почему-то не оставляла мысль, что я его узнаю. А пока, чтобы сократить время, я достал из багажника дипломат и стал просматривать газеты. В «Советском спорте» был отчет об отборочном матче сборной СССР с Ирландией, и меня порадовало то, что вывод корреспондентов совпадал с моим (а я смотрел телетрансляцию, что вело центральное телевидение со стадиона имени Ленина в Киеве): победили наши уверенно и заслуженно. Скорее всего, на чемпионат Европы семьдесят шестого года они отберутся. А с чемпионом страны вопрос, несмотря на май и на то, что до конца сезона еще полгода, уже решен. Если чудо не произойдет, им станет, конечно, киевское «Динамо» во главе с Блохиным. Еще бы, если в сборной страны — одни киевляне. И эта команда только что европейский Кубок кубков выиграла.

Одним глазом я посматривал за входом в гостиницу. Вот вышла группа западных туристов, стала усаживаться в поданный им красный «икарус». Вот двое нацменов в тибетейках пошагали в сторону Красной площади. Вот величественный мужчина с портфелем и знаком депутата уселся в такси. От нечего делать я взял просмотреть «Правду». Как часто бывало в главной партийной газете, передовица посвящалась самой животрепещущей (по мнению пропагандистов из ЦК) теме. Заголовок гласил: «БЕССМЕРТИЕ — НА СЛУЖБЕ ТРУДОВОГО НАРОДА!» Глаз выхватил основные, хорошо известные и привешиеся постулаты: «В отличие от стран, где правит капитал, а вопросом бессмертия распоряжается узкая кучка бессовестных политиканов и денежных мешков, вечная жизнь в нашем Отечестве принадлежит трудовому народу... Практически каждый гражданин Страны Советов может получить прекрасное право на вечную жизнь — надо лишь честно работать, беззаветно любить свою социалистическую Родину, аккуратно посещать собеседования-исповеди в соответствующих партийных органах...» Слова были такими же истертыми, как пять, десять или пятнадцать лет тому назад — когда с трибуны мавзолея, при многотысячной толпе и прямой радио- и телетрансляции, выступил первоиспытатель вакцины, простой советский парень и старший лейтенант, всеобщий любимец Юрий Петрухин: «Докладываю нашей любимой партии и всему советскому народу, что испытание лекарственного препарата, обеспечивающего бессмертие, проведено УСПЕШНО! Я чувствую себя отлично и готов выполнить любое новое задание советского правительства!»

Сколько с тех пор народу было обессмерчено — оставалось закрытой информацией. Даже мы в МУРе ею не владели. Кое-кто спорил (но только среди своих): а получили ли бессмертие генеральный секретарь Молотов и другие члены политбюро — и большинство были уверены, что, конечно, да.

А двадцать второго апреля, в день рождения вечно живого Ильича, обычно проводилась Жеребьевка, к каковой допускали лишь достойнейших из достойных граждан СССР. Претендентов перед лотереей каждый год значилось сто, из них выбирали имена пятерых счастливых — их узнавала вся страна, и они становились героями бесчисленных «Голубых огоньков» и очерков в тысячах газет и журналов, от «Правды» до «Молодого коммуниста». Обычно один колхозник, один рабочий, один деятель культуры. Ну, и опционально:

нацмен, партийный лидер среднего звена, типа секретаря райкома, и, может быть, ученый, инженер или партийный журналист. Пять счастливых случаев ежегодно — о которых все знали. И еще сколько-то безымянных героев, о которых не ведал никто. Награжденные бессмертием секретными указами.

А вот из гостиницы вышел мой Станюкович. Я никогда не видел его раньше, но почему-то оперативное чутье мне подсказало: он. Такой, знаете ли, с убитым Гарбузовым два сапога пара: в возрасте, но крепкий, стройный, уверенный в себе, занимающийся (видимо) каким-то экзотическим спортом, типа горных лыж или альпинизма, но, главное, ученый, всего себя посвящающий любимому делу — науке, поставленной на службу трудовому народу.

Я запер свою «ласточку» и быстро пошел следом за ним. Да, товарищ двигался в направлении кино «Зарядье»: от концертного зала «Россия» спустился по лестнице вниз, к набережной. Я на секунду подумал, что на нем сейчас висит, как минимум, одна статья, на выбор: убийство или доведение до самоубийства — и напомнил себе быть с гражданином аккуратнее.

Я подошел к нему — мужик и вблизи оказался высоким, стройным, загорелым. Продемонстрировал ему удостоверение. Он экспрессивно воскликнул:

— Ради бога, скажите мне, что случилось? Что произошло с Андреем? С чем связан ваш интерес?

— Это вы мне расскажете. Вы ведь вчера с ним встречались?

— Да! Я был у него! На Кутузовском.

Мимо нас со смехом прошла молодая парочка.

— Пойдемте. — Станюкович увлек меня.

Мы перешли проезжую часть набережной и оказались на том тротуаре возле гранитного барьера, у самой воды, куда обычно москвичи и гости столицы не добираются. Вот и сейчас на всем протяжении к Кремлю по нему шествовали не более двух человек.

— Расскажите о своем визите к Гарбузову. Когда пришли, когда ушли, о чем разговаривали. А начните с того, в каких вы отношениях состояли.

— Знаете, мы познакомились, еще когда Гарбузов лежал у нас на обследовании в Удельной. Какую-то мы друг к другу симпатию почувствовали. Ну, и обменялись телефонами — хоть это против правил. И я всегда, как в Москве оказывался, Андрею звонил. Обычно

мы встречались — иногда у него дома, а, порой, в ресторане. Вот и в этот раз: он настоял, чтоб я приехал. Даже свое собственное свидание с женщиной отменил.

— Хорошо. Во сколько вы у него на Кутузовском оказались?

Мы не спеша шли по направлению к Кремлю. На противоположной стороне Москва-реки дымила своими трубами МОГЭС-1, по фарватеру полз прогулочный теплоходик.

— Около восьми вечера.

— А ушли?

— Где-то в полдвенадцатого. Это легко проверить. Он по телефону вызвал мне такси.

— Значит, когда вы уходили, Гарбузов был жив?

— Жив! Вы говорите: жив! Он погиб?

— Около двенадцати ночи он, по всей видимости, пустил себе пулю в лоб. Что вы такое ему сказали? Такое, что он застрелился? Или это вы не уехали на вызванном такси, вернулись втихаря к нему в квартиру — и убили кореша?

— Ах, боже мой! Боже мой! — вскричал он, ломая руки. — Я не должен, не должен был ему говорить! Но мы оба выпили! Язык у меня развязался! А он так просил!

— Что же вы ему сказали?

— Он спросил меня, почему у него по онкологии плохие анализы — ему впрямую в больнице никто не говорил, но он чувствовал, что с ним что-то сильно не так. Как это вообще может быть: проблемы с онкологией, если он — бессмертный? Он же не должен умирать — совсем! А я сказал ему — научный факт, между прочим! — только у нас его изо всех сил замалчивают, да и на Западе стараются не афишировать. — Тут он оглянулся, но никто не слышал нас, ни единого человека не было в пределах видимости ни по нашему тротуару, ни по противоположному до самого Большого Устьинского моста. Машины мимо катили, на довольно хорошей скорости, но и только. — Так вот: как показала практика, препарат Мордвинова, или в просторечии, прививка бессмертия, действует, как оказалось, в среднем лишь примерно в шестидесяти процентах случаев. Остальные сорок процентов вакцинированных возвращаются к своему прежнему состоянию, и их точно так же, как простых смертных, начинают одолевать болезни: рак, инсульт, инфаркт. Что там говорить! — Он снова оглянулся. — Вы знаете, что Юрий Первухин, любимый всем народом первоиспы-

татель, больше половины своего времени сейчас у нас, в клинике в Удельной проводит? Мы потихоньку стараемся подтянуть его до параметров бессмертия — но не очень хорошо это удастся.

— Значит, вы огорошили Гарбузова рассказом о том, что он, быть может, и не бессмертен вовсе. И это, возможно, стало толчком для его суицида.

— Поверьте! Я был очень аккуратен в выражениях! Поверьте! Но как я мог ему не сказать? Обмануть?! Мы же друзья!

Мы дошли до моста и по сигналу светофора перешли проезжую часть набережной на более людную сторону. Стал виден стоящий на Васильевском спуске, на фоне Храма Василия Блаженного, еще один монументальный памятник трем вождям. Здесь гранитные Ленин, Сталин и Молотов сидели за круглым каменным столом и что-то обсуждали.

— Наверное, — спросил я, — у вас там, в Удельной, все силы сейчас брошены на то, чтобы у вождей наших все с бессмертием оказалось тип-топ?

— Ох. Я и так вам слишком много рассказал. Я надеюсь, вы благородный человек — вы производите впечатление благородного! — и не станете меня сдавать за мою болтовню.

Мы поднялись обратно к гостинице и пошли вдоль ее фасада, выходящего на реку.

— Не уезжайте никуда из города, — сказал я биологу. — Вас должны будут формально допросить. И, я думаю, на официальном допросе вы выдавать секретные сведения нашим сотрудникам не станете. В ваших же интересах.

Мимо на малой скорости проехала черная «волга» с буквами в номере «МОС». Где-то я ее уже недавно видел. «МОС» означало правительственная — или спецслужбисткая. Мы дошли до нужного Станюковичу крыла гостиницы.

— Я выкурю еще сигаретку, — сказал он. — Вы ведь не курите, я понял по запаху.

— Давайте.

Мы пожали друг другу руки. Мне понравился этот мужик — хоть он и оказался фактически убийцей своего друга Гарбузова.

Я дошел до моей «одиннадцатой модели», сел. И ясно увидел, через лобовое стекло, сцену — хотя она происходила очень, очень быстро. К Станюковичу подкатила черная «волжанка» — по-моему, та самая, с номером «МОС» — из нее выскочили сразу трое спортив-

ного склада молодых людей в костюмчиках, схватили ученого под руки и быстро забросили вовнутрь своего лимузина — и он умчался по пандусу на высоченной скорости.

Я тоже поехал — в сторону управления.

В своем кабинете я написал рапорт о расследовании (само)убийства Гарбузова. Разумеется, я умолчал о тех тайнах, что поведал мне Станюкович. Но написал, что считаю обязательным формально допросить его — может, благодаря этому нам удастся вытащить его из лап КГБ?

Потом я оставил у Коробкина на столе — его где-то носило — сегодняшний «Советский спорт».

Затем взял у начальника отдела ключ от сейфа и достал оттуда свой «макаров» и две обоймы. Положил пистолет в дипломат и отправился домой, на улицу Вешняковская.

Как приехал, позвонил своему сыночку домой — его не оказалось, наверное, гоняет в футбол.

Набрал номер бывшей жены — она работала и выглядела страшно занятой.

— Постой, что ты хотел?

— Да так, ничего, просто проболтать.

А тот самый звонок раздался в дверь квартиры только в половине восьмого вечера.

Я глянул в глазок — многие, включая бывшую супругу, смеялись, что я его поставил: а все-таки в итоге пригодилось.

На пороге, как я увидел в мутное стеклышко, стояли двое подтянутых молодых человека в галстучках. Точь-в-точь как те, что арестовывали Станюковича. А, может, *те самые*.

КГБ явно не собиралось допустить, чтобы сведения о «неполноценном бессмертии» распространились от болтуна Станюковича дальше.

Я сжал рукоять «макарова».

Мне тоже совершенно не хотелось попадать им в лапы, во внутреннюю тюрьму на площади Дзержинского, дом два.

Поэтому я приготовился к своему последнему бою. Я собирался дорого отдать свою жизнь.

Автор благодарен Максиму Токареву, который поделился сведениями, как были устроены в семидесятых годах прошлого века советский сыск и следствие.

ХОЧЕТСЯ АНГОНОВКИ

Иван Гурьев, кинодраматург. Наши дни.

Своего ангела еще надо заслужить. С этим соглашались все или почти все.

В последнее время тема эта стала модной, и, как следствие, появилось множество вранья и спекуляций. Из маргинальной вначале истории, которую обсуждали в основном на страницах трэшевой «Экспресс-газеты» и ночных эфирах РенТВ, она понемногу перекочевала на каналы федеральные и проникла даже на страницы правительственной «Российской газеты». Обычный состав приглашенных на ток-шоу «Пусть говорят» или «Привет, Андрей», посвященных ангелам, представлял собой восхитительный микс из иерея православной церкви, ученого-физика, медицинского работника (или врача), человека, величающего себя экстрасенсом, и тех, кого звали «контактерами» или «причастниками» — то есть людей, сподобившихся вступить с ангелами в контакт. Или тех, кто *уверовал*, что они ему являлись. Или кто внушил себе это. Или просто-напросто врал, хайповал на модной теме.

Разумеется, обсуждали и самый животрепещущий вопрос: а кто они, объекты, названные ангелами? Откуда взялись? Что фактически собой представляют? Какой в них смысл и толк?

Самой распространенной гипотезой было: ангелы — сиречь посланцы внеземной цивилизации, которая через них пытается войти с нами в контакт.

Нет, возражали другие, они представители параллельного мира, альтернативной вселенной, которые нащупали кротовые норы между нашим пространством и их, и теперь пытаются освоиться в человеческом обществе.

Нет, протестовали третьи, это гости из будущего, которые открыли способ возвращаться в прошлое — потому и пытаются подправить, подрихтовать нашу с ними общую историю.

Кроме этих предположений, словно выскочивших со страниц научной фантастики 50–60-х годов прошлого века, встречалось немало других версий, в том числе самых заковыристых. К примеру, некий доктор медицины из Сан-Франциско утверждал, что речь идет о новом типе психического заболевания, которое передается, возможно,

посредством некоего, еще не обнаруженного и не описанного вируса. А может быть, оно, это безумие, наводится дистанционно, благодаря постоянному присутствию темы в средствах массовой информации.

Но почему-то никто — и даже, как ни странно, представители церкви — не говорил о том, что, может, именно «ангелами» эти новые, необычные структуры названы изначально неспроста? Может, и вправду некая таинственная и непознанная всемогущая сущность — сиречь, Бог — с помощью своих посланников пытается вразумить и поправить погрязшее в грехах человечество?

Сколько в действительности случилось контактов с ангелами? Сколько их было, истинных контактеров среди людей? Это оставалось неизвестным. Мне думалось, что в реальности таковых насчитывалось примерно один на десять, а то и на двадцать шаромыжников, мошенников, саморекламщиков.

Однако никто из них — ни сами *причастившиеся* (или мнящие себя таковыми), ни так называемые «специалисты по контактам» — не сомневались, что своего ангела еще надо заслужить. Что те не являются просто так, всем подряд и с бухты-барахты. В последнем вопросе: явление ангела есть награда, — царило редкое единодушие.

Существовало еще одно мнение, не столь безоговорочное и неукоснительное, но тоже почти повсеместно одобряемое. А именно: если ты очень уж стремишься стать контактером, из кожи вон лезешь, чтобы *причаститься* — за ради славы, денег, успеха или прочих жизненных благ — тогда-то, скорее всего, ангел к тебе как раз и *не* явится. Вознаграждается *визитом* обычно скромное, бессребреническое, непримечательное житие. Больше того: считалось, что истинные и подлинники контактеры держат факт своего *причастия* в глубокой тайне и неведомые-невидимые силы за это вознаграждают их помощью и поддержкой — возможно, постоянной и каждодневной.

Разумеется, как и многим, мне хотелось хоть раз войти в контакт. Имелись вдобавок и шкурные интересы: почему бы не выпросить что-нибудь для себя? Но увидеть *ангелов* самому и попытаться понять, что происходит, хотелось даже больше.

Хотя, конечно, ничего специально ради этого я не делал. Жил себе и жил. Но притом возможное *их* явление в уме держал.

И когда той весной подошло великопостное время, я принялся поститься, как и год назад, и три, и пять — так заведено было в семье. И никаких предпочтений по этому поводу не ждал, а все равно

иной раз проскакивало в голове — стоишь, к примеру, на литургии, слушаешь строгие и торжественные слова и песнопения службы, а мысли сами залезают: раз я, типа, весь такой праведный, и пощусь, и в церкву хаживаю — может, меня ангелы своим посещением удостоят? Я, конечно, идеи эти из себя изгонял, просто запрещал себе их думать — но они снова и снова исподтишка проникали и порой даже расплывались внутри приятным чего-то ожиданием. Но, может, то было обычное преддверие Пасхи: радости, праздника, разговения.

Мне всегда в светлую седмицу множество снов обычно снилось. Конечно, когда просидишь семь недель на постных щах да каше, а потом жажнешь шампанского, закусишь сладким, плотным куличом да яичком с маслом — многое может явиться в видениях после ударных доз дофамина, адреналина, холестерина. Так и в тот год.

Первым мне представился Илюха. Он до этого мне не снился ни разу — да и со дня его смерти не так много времени прошло. А тут вдруг — здравствуйте. И общее настроение от сна оказалось светлым и даже возвышенным. Никуда Илюшка меня с собой не звал, ничего страшного в его явлении я не почувствовал. Наоборот, ощутил я обещание чего-то, надежду.

А приснилось странное. Антураж видения и общая атмосфера были поздне-советские, когда Илья и я были молодыми. В чем это выразилось? Машин мало на улице, старые автобусы «ЛиАЗ» разъезжают по тусклым и скучным полупустынным проспектам, без всяких тебе реклам, билбордов, постеров, плакатов. И я, значит, еду за рулем своего авто — что странно, потому что в советские времена ни водительских прав, ни машины у меня не было. Итак, несусь я вдоль тоскливой, провинциальной и окраинной улицы — то ли подмосковные Люберцы, откуда Илюшка был родом, то ли Новочебоксарск или Пенза, куда он езживал в командировки — и вдруг вижу: Илья, собственной персоной, стоит на автобусной остановке. Худенький, маленький. С полиэтиленовым пакетиком в руках — как решительно неприлично стало ходить в девяностые и нулевые, и как, напротив, модно было рассекать в советские восьмидесятые. Я торможу свой лимузин и ору из окна. «Илюха! — кричу. — Чего ты тут торчишь? Зачем тебе автобус? Садись, я подвезу тебя!» Особой радости не выказывая, солидно, важно, как и всегда у него заведено было, Илья идет к машине, садится рядом. И тут выясняется, что раз автобуса ему ждать не надо, то у нас куча времени высвобождается, и я немедленно предлагаю ему заехать ко мне.

И оказывается, что мы находимся в провинциальном городе, оба в командировке, и я привожу его в свой номер в захудалой периферийной и очень советской гостинице. В моем номере нас встречают крашенные половицы, железная солдатская кровать, стоящая у крашеной масляной краской стены; койка покрыта верблюжьим одеялом, колючим даже на взгляд. И как-то Илюха начинает над этой моею кроватью потешаться — ясное дело, ему, значит, удалось устроиться где-нибудь в «люксе» или хотя бы «полулюксе».

И вдруг выясняется, что ждал-то автобуса Илюшка, чтобы ехать куда-то на вечеринку, и, стало быть, теперь, раз мы встретились, я имею полное право и возможность к нему присоединиться. Да больше того! Там ведь, на том «сейшене» (как мы обзывали подобные сборища в молодости) и третий наш друг, Колька, тоже должен оказаться. Колька ведь ушел из жизни еще раньше, десять лет назад, и первое время частенько ко мне во снах являлся — а потом только в дневных воспоминаниях остался, в почти постоянной грусти, которую я испытывал, когда о нем думал.

Ну, раз ожидается вечеринка — совсем другое дело! Надо же по такому случаю и приодеться! И я лезу в тот секретер, что стоит у меня в номере — платяного шкафа почему-то нет, — там лежат у меня одежды, аккуратно сложенные в стопки. Нарядов, как в советское время принято было, у меня в шкафу мало, и они все наперечет, и то, что есть в гардеробе красивое да импортное, особенно бережется и по исключительным поводам надевается. А еще в секретере оказывается вдруг множество видеокассет — стоят рядами, и я понимаю, что, значит, на дворе стоят никакие не восьмидесятые, когда видеокассеты большой ценностью были, а за некоторые и посадить могли. Похоже, наступили уже ранние девяностые, когда ужасные советские гостиницы еще сохранились, а по части идеологии (и видео) дозволено стало все. «Но в девяностые, — мелькает у меня, — Илюха-то уже *уехал*, и никак не мог он оказаться в провинциальном и очень советском по антуражу городе», — и на этой идее я просыпаюсь. Но, повторяю, пробуждаюсь с чувством не тягостным, как бывает, когда покойники приснятся, а со светлым и приятным, вроде как и впрямь с другом повидался.

Снов я рассказывать не люблю и не умею, поэтому с супругой я ночным своим видением не поделился — а больше мне рассказывать сны, после кончины Илюхи и Кольки, было некому.

Пасха в том году была совсем ранняя, еще заморозки случались, и снег порой сыпал. Работать в саду начинать рано — участок завален сугробами. Птицы громко пели, но жена еще семечек нежареных в кормушку синичкам все равно сыпала. Вечерами мы с ней сериалы смотрели, упущенные за пост, и я иногда благополучно перед экраном засыпал. Потом пробуждался среди ночи, один. Шел на кухню поесть чего-нибудь, смотрел одним глазом ночные программы по ТВ — какой-нибудь футбол из Южной Америки — и наблюдал, как за окном, едва только начинало светать, орут и носятся птахи. Потом меня смаривало, я засыпал на диване, под пледиком, и вот тут-то приходили новые сны.

И однажды мне впрямь явился ангел.

Он сидел почему-то за моим же письменным столом: немолодой, лысоватый, с бородкой. Сидел в моем собственном покойном, старом, потертом кожаном кресле, ко мне вполоборота. Очень спокойное, чистое лицо — ни дать ни взять пожилой сельский священник. Но почему же я решил, что он ангел? Да вот одежды, как и в писании неоднократно говорилось, были у него сверкающими, словно снег, и странное, неземное, однако не ослепляющее сияние окутывало его скромную фигуру.

— Вы ангел? — спросил я его.

Мужчина только грустно усмехнулся и чуть развел руками: мол, если вам хочется именно так меня именовать, то пожалуйста, я не против.

— Для чего вы здесь? — спросил я его. — И почему ко мне пожаловали?

Он ответил не сразу, а когда все-таки ответил, говорил не словами и не раскрывал рта. Просто в какой-то момент все его сообщение, единым куском, с первого до последнего слова, словно бы отпечаталось у меня в мозгу — примерно так, будто загрузился файл с информацией — причем одновременно и в письменной форме, и как аудиосообщение, со всеми выделениями шрифтами (в письменной форме) и модуляциями голоса (устно). И представляло собой послание вот что — несмотря на сон, я запомнил его очень хорошо, со всеми нюансами, чуть не дословно.

— Вам предоставляется удивительная возможность, — первая фраза прозвучала, словно из рекламного буклета, рекламирующего экзотический тур или круиз. Но дальше пошло невиданное: — Вы

можете отправиться в любой прошедший день — вашей личной жизни или человеческой истории — и изменить его так, как вам заблагорассудится. Вы, сегодняшний, сможете переместиться во времени и встретиться с собой вчерашним. Или, по вашему выбору, со своими родителями, бабушкой или дедушкой, или далекими пращурами. Или вовсе с теми людьми, которые не имеют лично к вам никакого отношения — но с которыми вам почему-либо важно повидаться. И в прошлом вы можете делать все что угодно. Любым способом пытаться изменить его. Мы постараемся доставить вас в целостности и сохранности в выбранный вами день, а потом вернуть обратно в ваше время. Но получится ли у вас осуществить задуманное? И какими на самом деле окажутся последствия тех перемен, которые вы произведете? Мы не знаем и никаких гарантий дать не можем. И еще надо учесть, что после осуществленной вами перемены, ваша личная судьба или человеческая история могут пойти по совершенно другому пути и откат к прежнему состоянию (*клянусь, сформулировано в послании было именно так, словно на сленге компьютерщиков: «откат»*) будет невозможен. Вам предоставят только один день из прошедшей жизни, лишь одну попытку. Могут ли в итоге перемены оказаться к худшему? Мы не знаем. Повторимся: в вашем праве отправиться в любой день как своей собственной жизни, так и всей земной цивилизации, от пирамид до космических полетов. Но следует помнить также, что, возможно, ваше вмешательство приведет в итоге не к благим переменам, а, совсем наоборот, к драматическим или катастрофическим последствиям. Ни мы, ни вы предсказать или впоследствии поправить случившееся не в состоянии. Подумайте. Вскорости я явлюсь снова и, если вы окажетесь готовы, помогу вам совершить *переход* — в тот самый день и то место, которые вы мне сами укажете и где вы подразумеваете совершить Исправление. — Последнее слово, Исправление, в письменной форме значилось с большой буквы — таким же важным оно артикулировалось и в устном послании.

После того, как *ангел* (буду называть его так) убедился в том, что сообщенная информация дошла до меня, он, не давая мне возможности ни о чем переспросить и что-либо уточнить, стал медленно и тихо испаряться в воздухе: сперва исчезло его туловище и седенькая борода, потом померкли блистающие одежды и, наконец, потускнело окружавшее его сияние — и вот он испарился целиком, и сразу действительность стала тусклой, обыденной, скучной.

А потом я проснулся. И опять, как и в первом сне, с Илюхой: никакого угнетенного или тоскливого состояния — которые накатывают обычно после пробуждения, особенно, если спишь не в своей кровати, а накоротке, где-нибудь без постельного белья, на диванчике. Напротив: на душе радостное, светлое чувство. И ни малейшего сомнения, что все было сказано всерьез, и я действительно имел дело с ангелами (кем бы они ни были). И, возможно, в самом деле получил редкий шанс переменить свою (прошлую) жизнь.

Надо было поразмыслить, что происходит. Я встал, оделся. День только начинался, жена еще спала. Я выпил кофе и написал ей записку: «Пошел пройтись, газету купить. Целую, Ваня». Эта подпись под запиской: «Целую, Ваня», — давно стала для нас с ней своеобразным паролем, который мы произносили в шутку по самым разным случаям.

Потом я надел сапоги и куртку и вышел из калитки. Мне всегда лучше думалось на ходу. Свежий воздух и усиленная вентиляция мозгов кислородом рождали порой самые нетривиальные решения для моих сценариев — что ценили потом продюсеры и зрители.

Изменить свою прошлую жизнь! (Начал думать я, едва вышел за калитку). Да ведь это вековая мечта человечества! Сколько их всегда звучит в людских речах, этих безумных сожалений! «Ах, вернуться бы в прошлое!.. Ах, зачем я в политехнический поступил — ведь с самого детства хотел стать врачом, почему же своей мечте изменил?!» Или: «Ах, почему я на Вале женился, а не на Гале — какая та спокойная, красивая и умная была! Зачем мы с Галкой тогда расстались-то?! Как с ней было хорошо мне, а сейчас она — бабушка, четверо внуков у нее, и ничего не воротишь! Ах, я дурак, дурак! Как бы все переменить!?!»

Но штука заключалась в том, что сам я никогда (или почти никогда) не предавался подобным раздумиям. Меня и в целом, и в частности устраивала моя собственная жизнь и судьба. Я доволен тем, как она сложилась, удовлетворен своей работой и своими (пусть скромными), но достижениями. Мне нравится жить с моей женой, и я, при всех ее (и моих) недостатках, не хотел бы поменять ее ни на какую другую женщину в мире, и единственное, чего реально желал бы, — жить с ней бесконечно долго: всегда. Вечно. Но устроить это ангел, кто бы он ни был, мне не сулил, а я и не успел ни о чем подобном спросить. Что ж, возможно, над будущим ангелы, как и мы, не властны. Только над прошлым — и то нашими руками.

Да, прошлое... Что переменить... Да, совершал я в своей жизни неудачные и неприглядные поступки. Да, есть вещи, за которые я до сих пор краснею и предпочел бы вычеркнуть их из моей собственной книги судьбы. Стереть к чертовой бабушке — тем ластиком, что предложил мне ангел. Но все плохое случилось, право, так давно и было так мелко... И никто, честное слово, от моих гнусеньких и подленьких поступков не пострадал — кроме разве что меня самого. И, может, пары девчонок, которых я, прямо скажем, некогда в своих целях использовал. И вот что теперь? Идти и затирать эти мои юношеские погрешности тридцатилетней давности? И какой именно из моих проступков выбрать для исправления? Как я у одноклассника в восьмом классе книгу скоммуниздил? Или как в институте, когда целое дело завели и следствие начали, я отрекся от однокурсников, которые напились допьяна в общаге и залили пол-этажа из огнетушителя — сказал, словно две тысячи лет назад апостол Петр: «Не было меня с ними»... Да ведь никого тогда не выгнали, ни из института, ни из комсомола, дали всем (кроме меня) по выговорешнику, потом сняли, ничью судьбу не изломали.

Можно было, наверное, встретиться с самим собой пятнадцатилетним и уговорить, чтобы я пить алкоголь не начинал. И курить. Или хотя бы — пораньше бросил, не угробил столько времени и здоровья на сии поганые привычки. Но, если разобраться — бросить пить и курить благодаря вспомоществованию ангелов: как это мелко, честное слово!..

Или вот, я, правда, хотел бы: в молодости быть посмелее с дамским полом, не ходить вокруг юбок, нежно целуя кончики девичьих пальцев, — а действовать бойчее, нахрапом, по-гусарски! Побеждать! Покорять! И поболее иметь в своем «донжуанском списке» завоеванных сердец, не три-четыре, а десять, тридцать, пятьдесят!

Но подобное исправление — вообще фу. Стоит пойти по такому пути — и, глядишь, я добьюсь госпожи Т. в двадцатилетнем своем возрасте, а она возьмет и женит меня на себе, а потом будет, в силу склочного и властного своего характера, пить из меня кровь, судьбу мне калечить. Ангел же ясно сказал: перемены обратной силы не имеют — и всей жизнью рисковать ради сомнительного удовольствия погрузиться в оставшиеся мне некогда недоступными чресла госпожи Т. — нет-нет, увольте!

Весь погруженный в свои мысли, порой попадая ногой в глубокие лужи или поскальзываясь на ледышках, не растаявших еще в

затененных местах, я дошел до станции. Там шла движуха. Народ подъезжал на станционную площадь на маршрутках и автобусах, выгружался. Кто-то по пути заглядывал в газетный киоск, но большинство напрямик неслись на платформу, к кассам за билетами, распределялись по перрону, выгадывая, где откроются двери, чтобы проскользнуть в вагон первыми, занять оставшиеся еще, быть может, свободные места и не стоять всю дорогу до Москвы.

У магазина стоял уже нетрезвый, красномордый алкашик. «Дядя, дай мелочи», — прогудел он, когда я проходил мимо. Я всыпал ему в корявую руку всю монеты, что были. Он обрадовался: «Спасибо тебе, мужик». А я, как обычно, даже позавидовал ему мимолетно: ничто ведь не волнует человека, ни работа, ни моральные проблемы, ни ангелы ему не являются — сейчас наскребет на самое дешевое пойло и будет счастлив.

В киоске купил свежую спортивную газету — дань, скорее, привычке — ведь все известия легче найти в интернете. Сложил ввосьмеро, засунул листок во внутренний карман куртки и пошел дальше, к леску, который каким-то чудом сохранился среди наступающей застройки — застройщики, в погоне за прибылями, готовы были разместить многоэтажки на всех свободных местах ближнего Подмосковья.

Почему-то вспомнилось: году в девяностом Голливуд проводил конкурс сценариев на советскую тему — среди наших творцов, готовых тогда за пригоршню долларов (как и я тоже) горы своротить. И первый приз взял, помнится, скрипт под условным наименованием «Спасти Горбачева». Суть его заключалась в том, что, дескать, враги перестройки, с помощью машины времени, а-ля Терминатор, попадают в послевоенный Ставропольский край и там пытаются замочить Мишу, комсомольца и комбайнера. Плохишам, разумеется, противостоят здоровые силы, которые в итоге (естественно) побеждают — спасают будущего генерального секретаря. Насколько я помню, фильм так никогда и не был снят — я его, во всяком случае, не видел и никогда о нем не слышал.

По нынешним временам, конечно, гораздо бóльший успех имела бы лента «Замочить Горбачева» — общественное мнение ведь сделало именно Михаила Сергеича ответственным за все российские беды, главная из которых «развал Союза». Но нет, пользуясь предложением ангела, я бы генсека не тронул — Союз, верно, и без него

бы развалился, очень уж неработоспособной выглядела конструкция к началу восьмидесятых, я-то помню. А если б не Горбачев, а другой пришел бы в восемьдесят пятом к власти да начал вдруг противиться развалу — штыками да танками, — неизвестно, сколько бы в итоге мы крови и грязи выхлебали.

Не-ет, если говорить о российской истории, у меня претензии к совсем другим персонажам имелись. «Вот если бы, — возмечталось мне, — отправиться в год одна тысяча восемьсот семидесятый, да юного Владимира Ильича вытащить из колыбельки, да трахнуть башочкой об пол! Мальчик он, как говорят, родился недоношенный, стало быть, не самый сильный здоровьем, — от одного удара гикнулся бы. А там, глядишь, и вся наша история по иному руслу потекла».

«Мечтать не вредно, — возразил я сам себе. — А ты-то сам, своими руками, злодейство это, убийство ребенка, — совершить в состоянии? Это ж только мыслить так можно красиво: брякнуть головой на пол. А сам-то ты в силах?»

В какой-то момент показалось: да за ради счастья человечества и страны родимой — почему нет? И если не Владимира Ильича, херувимчика с кудряшками, то злого чернявого грузинчика Йосика, будущего корифея всех наук и тирана, — точно б замочил. «Но — сразу вопрос: допустим у тебя достанет силы духа. Поднимется рука на убийство. А спасет ли оно? Ты уверен, что *без них* не будет еще хуже? (Хотя казалось бы: куда уж хуже.)»

Но — нет. Вот эти потуги: осчастливить если не всю Землю, то хотя бы страну родимую — они ведь душами многих ррреволюционеров владели. «И ты что же, — снова спросил я себя, — им уподобишься? Пойдешь по их неверному пути? Будешь убивать, чтоб Родину осчастливить? Почему б все-таки не решить свои собственные, личные незадачи, чем пытаться приблизить (негодными средствами) всеобщее царствие Божие на земле».

Я прошел насквозь небольшую рощицу. Снег здесь еще совсем не стаял, лишь кое-где виднелись проплешины, достигавшие черной земли. Но ручей, по случаю половодья, поднялся, чуть не лизал положенный поверх воды мосток. По поверхности носились взбудораженные утки. Однако пруд, в который ручей впадал, еще не растаял. По снежной каше поверх льда расхаживали чайки. Мама с малышом стояли на берегу. Малыш, замотанный шарфом, как замороженный, наблюдал за птицами.

Я подумал о своих друзьях, ушедших так зверски рано — может, не случайно мне предварительно сон с Илюхой *показали*. Илюшка умер, не дожив до шестидесяти — вообще-то рано по нынешним прогрессивным временам. Колька, наш третий друг, и вовсе пятидесятилетний рубеж только перешагнул.

Мне вспомнилось, как я приезжал к Илье в последний раз. Когда мы планировали поездку и я звонил ему из Москвы по ватсапу, он не раз говорил: приезжай проститься, и всякое такое. По телефону из Москвы я его всячески разубеждал: и врачи, говорил, частенько ошибаются, и чудеса в жизни случаются, и медицина у вас там, в Израиле, могучая — спасут тебя, Илюшка, вылечат! Я и сам был почти уверен в том, что вкручивал ему тогда.

Перед той поездкой он дал нам с женой тщательные инструкции: что привезти. Самое простое оказалось — антоновка. У нас на участке три старых кривых яблони росли, именно той породы — они до сих пор с грехом пополам плодоносили, рождая общими усилиями с десятков крепких, огромных и кислующих яблок. А мы собирались ехать поздней осенью, как раз и урожай подоспел. Еще Илюха просил бородинского хлеба, свиной сырокопченой колбасы, украинского сала, хамсы пряного посола. Тяжелее всего оказалось с заказанными им, среди прочего, бакинскими помидорами. Трудно поверить, что в южной стране Израиле имелась нехватка овощей, а вот поди ж ты! Илье мечталось именно о бакинских, и жена поехала доставать их на центральный рынок на Цветном — который теперь, как оказалось, помещался и не на Цветном вовсе, и от которого, как выяснилось, осталось только название. Да, ныне на бульварном кольце в павильоне под названием «Центральный рынок» хипстеры высиживали в кафешках и ресторанчиках, а продавцы ютились в подвале — и там бакинские помидоры, наконец, нашлись.

В аэропорт нас встречать Илюха не приехал — оказался не в состоянии, нас приветили в Бен-Гурионе жена его и сын. Когда шли к выходу, вспоминалось, каким эффектным и ярким казался мне этот аэропорт, с разноязыкой толпой, с траволаторами, рекламными плакатами, фонтаном и зеленью, четверть века назад, когда я впервые приезжал Илью навестить. Тогда меня встречал развитой и яркий капитализм, а не наше непонятно что. Вспомнилось, как поражали тогда, в девяносто пятом, банкоматы, телефоны-автоматы, откуда — прямо с улицы! — можно звонить куда угодно, хоть в Рос-

сию. Чудными казались и проблемы с парковкой, и камеры, следившие за порядком на дорогах, — нам все эти радости еще предстояли. Тогда, четверть века назад, Илюшка производил впечатление человека, успешно вставшего в новую жизнь: он рассекал на недавно купленном «сеате-ибице» и в кафешках лихо заказывал на иврите иноземное пиво.

А ведь когда мы расставались в Москве в девяностом году, казалось — навсегда. Но история извернулась в сторону открытых границ, и судьба потом нам еще много встреч подарила. Раз а три или четыре в Израиле, да и он раз семь в Москву возвращался.

Но в тот раз, когда приехали к нему домой из аэропорта и обнялись, — и впрямь подумалось: «В последний». Илья никогда не отличался богатырским телосложением, а сейчас и вовсе исхудал. Ноги еле двигаются, на шее — страшный шрам от лучевой терапии, на половине головы и лица волосы не растут.

Ему очень, очень хотелось, чтобы все нам понравилось: его новая квартира на восьмом этаже панельной башни — из окна ванной можно даже увидеть вдалеке сверкающее море. И комната, в которую нас с женой поместили, — вся обитая изнутри, по советской моде семидесятых, вагонкой: раньше в квартире жили выходцы из Беларуси, они и отделали спальню деревом, из ностальгических соображений. Из последних сил Илья перед нашим приездом (рассказала его жена) спустился вниз в зеленую лавку за манго — знал, как я сей фрукт обожаю. А еще собственноручно приготовил нам свое коронное блюдо: плов.

Я тоже не знал, как порадовать друга. На море он с нами тащиться категорически отказывался: «Я не дойду, а по ступенькам на пляж тем более не спущусь». — «Давай, отвезу тебя на каталке!» Но на коляску он не соглашался бесповоротно: не хотел, наверно, чтоб соседи и прохожие видели его беспомощным. Оставалось радоваться за местную медицину, которая не держит таких больных в раковых корпусах, а оставляет дома, в семье и с друзьями.

Раз в неделю, по воскресеньям — в Израиле воскресенье рабочий день, первый в чреде трудовой недели — Илье полагалось своими силами из своего Бат-Яма — а это южный пригород Тель-Авива — добраться в Рамат-Ган, который расположен на севере сего огромного городского конгломерата. На такси получалось невыносимо дорого, и Илюха обычно собирался спозаранку, пока все еще спали, и ехал сам за рулем,

в свой раковый госпиталь по пробкам утреннего города. Я предложил возить его — вместе побыть и хоть как-то порадовать дружбана. Он слабо возразил: «Да что ты будешь день терять, иди лучше на море!» — но я отмахнулся: «Я не на море приехал, а к тебе».

И вот в воскресенье мы погрузились в старенькую облупленную Илюшкину «хонду джаз» и покатали, я за рулем, по утренним улицам пробуждающегося Тель-Авива. Движение в Израиле типично южное — бурное, резкое, с быстрыми перестроениями и частым бибиканьем. После своей размеренной деревенской жизни я частенько не вписывался в процесс, и Илюха, освоившийся на пассажирском сиденье, меня костерил: «Что ты, Ванька, спишь?! Просыпайся уже! Здесь так не ездят! Рули активно! Воруй у него полосу! Воруй!» Я на его выпады не обижался, я доволен был, что мы вместе, что ему не надо тащиться в госпиталь в одиночестве, в сопровождении тяжелых мыслей, что я ему хоть чем-то помогаю.

Примерно за час лихорадочной езды и пробочного стояния мы добирались до громадной больницы в Рамат-Гане — больница выглядела, как настоящий город: свои дороги, мощный трафик, куча корпусов. На Илюхину машину укреплен был транспондер, поэтому я бы и не заметил, как мы оказались на территории госпиталя, вот только у шлагбаумов стояли охранники — пять рядов заезда, и на каждом по соглядатаю — в гражданском, но с весомыми пистолетами на поясе. Они тщательно вглядывались в каждую машину, просматривали острым взором лица всех въезжающих, ни одной пары глаз не пропускали.

Нас не тормознули, мое славянское лицо никому оказалось неинтересно, и мы зарулили на многоэтажную крытую парковку, поехали по спирали вверх в поисках места — Илюшке разрешено было парковаться на блатных инвалидских местах, поблизости ко входу в корпус, — но их тоже поискать требовалось. Нашли, заперли «хонду», потащились по стоянке в корпус — Илья ходил еле-еле. Перед входом припаркованы были кресла-каталки, не новые, с ободранными спинками и сидухами. Мой друг придирчиво выбирал лучшую из оставшихся, плюхался в нее, и я торжественно вез его в больницу — с приятным чувством, что я помогаю товарищу.

В «раковом корпусе» кондеи работали во всю мочь, царил лютый холод. Но больницей или чем другим отвратным не пахло — чисто, стерильно, удобно. На электронном табло над регистратурой высве-

чивались неведомые мне значки на иврите. Илюха изучал их, говорил: «Пойдем. Сегодня нам на такой-то этаж». А потом командовал мною: «Налево. Направо. Прямо. Стой. В лифт».

Помещение, где проводили химиотерапию, было огромным, но в целом — уютным. В центре зала — стойка, за которой царили врачи, медсестры, санитарки. Мишка, подвезенный мною на кресле, сдавал туда документы, почти сразу ему назначали место. Оно представляло собой удобнейшее кресло, словно в салоне бизнес-класса, которое можно было разложить, с помощью кнопочек, в настоящую постель, или остаться сидеть. Для сопровождающего рядом полагался стул, далеко не такой удобный.

Потом я посчитал — подобных кресел вдоль стен и в закутках было около восьмидесяти. Практически все заняты. Мужчины, женщины, старые, молодые, средних лет. Кто-то с сопровождающими, но большинство больных — в одиночестве. Дремлют, читают, работают на компьютере, пишут эсмэски. А рядом с каждым — штанга с пластиковым сосудом, и химическая жидкость по трубочкам потихоньку стекает, напityвает пациента.

Каждую станцию можно было зашторить от других полиэтиленовой шторкой, как в душе. Но отгораживались от мира немногие — хотя и между собой в то же время больные не общались, симптомы, методы лечения и прогнозы не обсуждали. Каждый был сам по себе. Вел свою борьбу сам — но на виду других.

«Химия» — дело долгое. Мы просиживали в раковом корпусе, пока медсестра сменяла пластиковые сосуды на штангах, и по пять, и по шесть часов. Временами появлялась тетка с тележкой, развозила и раздавала бесплатно бутерброды в пластиковых контейнерах. Я объедал израильского налогоплательщика, сжирал сэндвич с тунцом, Илюха отказывался. Можно было сходить на маленькую кухню, налить себе чаю-кофе.

Каждого больного обслуживала своя медсестра. Видимо, политика госпиталя была: своих приставлять к своим, чтобы меньше недоумений было, языковых и ментальных. Мусульманка в платочке возилась преимущественно с больными-единоверцами, мулаточка — с африканцами, а Илюхе досталась Мария откуда-то из Гомельской области. И как-то она, несмотря на библейское свое имя, вела себя в хамском тоне советских медсестер тридцатилетней давности: «Ты, что, не видишь, я занята!.. — Хамству помогало, что на иврите

нет местоимения «вы», и все друг другу тут тыкали, даже если говорили по-русски. — Куда ты плюхнулся, я простынку еще не постелила! Сколько говорить: самому выключать прибор нельзя!.. Ну и что, что пролежал полчаса без дела?!» Когда в следующий раз сестрицу заменили на улыбчивую и быструю израильянку по имени Тамар, мы только с облегчением вздохнули.

А пока в специально вживленный порт под правой ключицей Илюшке капала живительная жидкость, мы с ним болтали. Он мне рассказывал то, что раньше не доводилось: как они устраивались, всей семьей — жена, теща, два сына-младенца — на новом месте, в новой стране. Как это было тяжело и долго: ехали тогда, в девяностом, из Москвы на автобусе в Польшу, потом поездом в Вену, потом летели в Израиль. «В девяностом в Бен-Гурионе около ста самолетов в день садились с репатриантами — двадцать, двадцать пять тысяч человек ежедневно. А где-то через сутки из аэропорта выходили — все с новыми документами и пособием на твое имя в банке. Вот только пособие быстро кончалось, и месяца через три надо было начинать работать, иначе пропадешь: а как работать? Языка нет, знакомств тоже».

Илюха ремонтировал квартиры, собирал в полуподпольном цеху электрочайники, был счастлив, когда устроился лифтером...

— Ты никогда не жалел, старина, что уехал?

— Знаешь, как у нас говорят: пусть я дерьма нахлебался столовой ложкой, зато сыновья мои — свободные люди в свободной стране, и никто не назовет их никогда жидовской мордой.

А еще мы, сидя в госпитале в Рамат-Гане, друзей вспоминали — и чаще всего Кольку, который ушел от нас десять лет назад. Когда-то, в юности, мы неразлучными были, да и позже, из нежного возраста выйдя, — встречались, перезванивались постоянно, какие-то движухи запускали вместе. Колька тоже умер от рака, но если у Илюхи поражена была лимфа, то у Коляна — кровь.

Сдуру, по-иному не скажешь, еще в советские времена, наш Николай пошел служить — в войска правительственной спецсвязи. Да ведь туда еще попробуй попади! Спецсвязь тогда была подразделением всемогущего КГБ. По большому благу, с помощью своего отца, полковника и доцента в военном училище, где связистов готовили, Кольку мобилизовали в сие секретное подразделение. Лейтенантские погоны и закрытый военный городок казались тогда предме-

ством рая: снабжение по первой категории — как в Звездном! В магазине колбаса свободно! И расположение — под Москвой, всего в часе езды!

Кто ж знал, что всего четыре года спустя после того, как его мобилизуют, налаженная советская жизнь рухнет, офицеры, чтобы прокормиться, пойдут (как Колька): кто близлежащую церковь охранять, кто лес рубить, кто рекламу в газеты добывать. А когда он выправился и нашел себе очень хорошую халтурку, начались двухтысячные, Николаю *поставили диагноз*. Помню, мы после его первого похода в госпиталь Бурденко встретились, на футбол вместе ходили — он был благостный, веселый. «Отличный ход событий! Меня через месяц по здоровью комиссуют. Квартиру в Москве дадут. Отдамся весь своей халтурке. А про болезнь врачи сказали: вы умрете лет через двадцать и не от этого заболевания».

Как-то насторожило тогда это спешное комиссование — но почему бы и не вправду предположить, что заботится армия о своих питомцах?

Еще одного нашего школьного приятеля, по образованию врача, занесло в Канаду. И он определенно сказал: лейкемия у Кольки возникла оттого, что он высокочастотную связь обслуживал.

Армейские начальники — понимали они, что стало для его болезни первопричиной? Чувствовали свою вину перед ним? Или просто положено было: немедленно комиссовать, жилье предоставлять? В общем, Вооруженные силы Кольке сполна свой долг отдали: когда у него уже отказала селезенка, в госпитале Бурденко ему раз в три-четыре дня делали переливание крови — так продолжалось месяцев восемь, до тех пор, пока и это перестало помогать.

Высоченные потолки госпиталя, толстенные стены, просторные подоконники. Когда разрешено было, я приезжал к Николаю — почти всегда он пребывал в добром расположении духа, шутил, смеялся. Однажды рассказал, что приходил больничный священник, долго разговаривал, отпустил грехи. А потом однажды врачи сказали ему: «Звоните своим родным, пусть приезжают». И началась агония...

Вот их бы — мне спасти! Их бы! Обоих! Так рано ушедших! И Кольку, и Илюху!

Но как?! Рак ведь до сих пор не научились исцелять. Онкология по-прежнему как приговор. Но, может, вернуться и встретиться с ними, и убедить, уговорить: Илья, не надо, не надо, не надо тебе,

мой дорогой, уезжать в этот Израиль — это юг, яркое солнце, ты сам, оказавшись там, стал говорить мне, что многие, слишком многие выходцы из наших северных краев страдают там канцером! Остайся в России — может, ты здесь будешь более счастлив! И не заболеешь!

И перед Колькой можно выступить: зачем тебе эта правительственная спецсвязь!? Ведь ты по складу своему, по характеру, совсем не солдафон, ать-два, ты же артист! Да ладно, пусть не артист, пусть инженер — как в институте выучился и в дипломе написано. Ну, и будь инженером, а не связистом, который рядом с высокочастотными генераторами в радоновом подземелье сидит!

А главное, я ведь очень хорошо помнил, с точностью до дня, когда мы встречались все вместе — и были тогда еще очень молодыми, а, значит, пластичными и очень внушаемыми — подростки, что с нас взять.

Хорошо помню тот день. Лето, июнь. Нам по пятнадцати. Мы закончили девятый класс. И вот что нас еще сдружило — такое только в блаженном Советском Союзе могло случиться, в котором очень многое, чуть ли не все подряд, делалось не за деньги, а за идею.

Мы втроем тогда, Илюха, Николай и я, учились в физматшколе при Электротехническом институте. Преподавали в этой школе студенты и аспиранты (бесплатно!), и обучение тоже было, естественно, бесплатным. При этом у всех участников процесса имелся свой интерес: нас, будущих абитуриентов, натаскивали к вузовским экзаменам. Институт в итоге получал, в нашем лице, подготовленных студюзов. А парни с девчонками, студюзы, что нам преподавали, свое учительское мастерство оттачивали. Знали, что потом оно им пригодится, когда они настоящими лекторами в вузе станут, а также репетиторствовать уже за деньги начнут.

Система таких физматшкол, а также школ юного журналиста, юного географа, химика и бог еще знает кого, — очень широко по Союзу распространена была. В Электротехническом еще и дальше шагнули: а давайте мы школьничков в студенческий строительный отряд запишем? Они трудовую копеечку заработают, к работе приохотятся, со студюзами спаяются — да и отряду лишние руки не помешают. Так мы втроем, еще будучи школьниками, попали в стройотряд.

Никуда в Сибирь или на целину нас не отправили, но и в Подмосковье полно было мест, где приложить руки. Жили мы вместе с отрядом в Немчиновке, близ Кольцевой. Студенты разбили на пустыре бивак: штук восемь палаток воинского образца, в каждой из них

по двадцать кроватей. Рядом умывалка под открытым небом, сцена, штабные вагончики. Студенты прозвали нас, троих школьничков, «пионерами» и, в общем, щадили. Мы собирали кровати, расставляли тумбочки, красили заборы. Потом, правда, попали в бригаду бетонщиков, и там от носилок и лопат с бетоном руки отваливались.

А еще нас гоняли с курением. И выговоры объявляли, и на линейках песочили, и в самодеятельных концертах высмеивали — а мы все равно тянули в перекуры чинарики. Мы, конечно, ужасно гордились, что мы взрослые, работаем по-настоящему, как «большие», — оттого и курево.

И вот хорошо помню тот день. Пятнадцатое июня, воскресенье. Как раз день рождения Кольки — он самый старший из нас, ему исполнялось в тот день шестнадцать. На выходные нас отпускали домой, в «увольнение». Мы в субботу родных своих явлением порадовали, домашней еды наелись, а в воскресенье, в отглаженных мамами стройотрядовках, встретились в центре Москвы, на улице Горького — нынешней Тверской.

Солнечный, но не жаркий день, еще шелестят вдоль проезжей части липы, машин мало — да и людей тоже: все по случаю хорошей погоды устремились на природу. В ту пору на Горького имелось два модных кафе: «Космос» и «Молодежное», неподалеку друг от друга, по правой стороне, напротив Телеграфа. На месте «Молодежного» раньше, говорят, был «коктейль-холл». Там и в семидесятые подавали коктейли и красивое мороженое нескольких сортов.

И вот мы трое сидим в «Молодежном» на втором этаже, за столиком с видом на Горького, форсим ужасно в своих стройотрядовках, будто мы не школьники вовсе, а натуральные студенты — можем даже, если захотим, алкогольный коктейль заказать, шампань-коблер какой-нибудь. Но мы не заказываем — в стройотряде сухой закон, а нам сегодня возвращаться в лагерь: не дай бог, унюхают, стыда не оберешься, да и выгнать могут.

Поэтому мы пьем сидро, едим многоэтажное мороженое, политое шоколадом, утыканное печеньем, чокаемся лимонадом, налитым в стаканы тонкого стекла, провозглашаем здравицы в честь именинника. Жизнь, простирающаяся впереди, кажется не то, что длинной — бесконечной. Но и проблемы, что маячат перед носом, — серьезными, важными: чего стоит поступление в институт, которое нам через год предстоит.

Хотелось бы мне оказаться в том прошлом, увидеть нас троих — юных, румяных, с едва пробивающимися усами! Полюбоваться, послушать разговоры, похлопать по плечам. И уговорить, убедить! Одного — с воинской службой не связываться. Другого — в жаркие страны не уезжать. И поменьше пить алкоголя. И курить бросить.

Но как это будет выглядеть? «Ты знаешь, Колька, через десять лет ты захочешь идти служить в армию офицером — так вот, не надо этого делать... А ты, Илюха, не уезжай через пятнадцать лет в Израиль». Послушают они меня? И будет в моих уговорах толк? Да как вообще можно взрослого человека убедить *что-то сделать*? Или, тем более: *чего-то НЕ делать*? Сколько раз тогда и позже, говорили мне — и родители, и другие взрослые, и врачи... И убеждали, и с примерами, и со ссылками на авторитеты: «Ваня, не кури! Не пей!» (И так же наверняка и друзьям моим на мозг капали). И все равно: в одно ухо влетало, в другое вылетало — я и клялся, и обещания давал, и все равно возвращался к своему корыту, и так продолжалось с выпивкой и куревом: много, много лет, пока наконец жареный петух в темечко не клюнул.

И что же? Появлюсь я, значит, из будущего, как фосфорическая женщина, и буду вещать моим друзьям: не пейте, не курите, не идите в армию служить, не переезжайте в Израиль, а не то через тридцать-сорок лет от рака помрете! Да ведь тогда нам эти предстоящие тридцатилетия-сорокалетия казались невообразимой далью и огромным сроком. Тридцать годков? Сорок впереди? У, сила — хорошо, и ладно, и хватит нам!

Я вспомнил, что в те как раз годы, лет в четырнадцать-шестнадцать, сам я думал, что доживу не долее, чем до тридцати пяти, и это казалось мне нормальным полноценным сроком: почти, как Пушкин, и дольше Лермонтова!

Да, жизнь убедила меня в том, что повлиять на кого-то, чтобы изменить его жизнь — задача совершенно трудно исполнимая. Во всяком случае, сам я никого и ни в чем ни разу не убедил. Как не уговорил, уже сам от дурных привычек отвязавшийся, бросить пить того же Кольку и курить того же Илюху.

Вспомнилось, как после сеанса «химии» я на кресле-каталке вывозил Илюшку на открытый воздух из израильского ракового корпуса. Дневная жара к тому моменту уже спадала, да и октябрь кончался, и солнце клонилось к горизонту. И в специально отведенном

павильончике с лавочками под крышей Илья засаживал сразу пару сигарет, одну за другой, и только потом я катил его на лифт к многоэтажной стоянке, где оставалась припаркованная «хонда».

Мы тогда вместе три раза с ним в ту больницу съездили. На четвертое воскресенье я уезжал. Утром он собрался в свой госпиталь, теперь в одиночку. Мы обнялись. Я сказал, что обязательно приеду к нему на шестидесятилетие: «Всего каких-то восемь месяцев осталось».

— Если доживу, — проговорил он серьезно.

— Куда ты денешься, — с деланной беспечностью отвечал я.

Потом мы перезванивались по ватсапу — очень часто, как никогда раньше. До тех пор, пока он не сказал: «Меня кладут в госпиталь. — И добавил дрогнувшим голосом: — По-моему, теперь это точно трындец».

Как бы хотелось спасти вас, ребята! Но, боже мой, как? Сколько факторов влияют на онкологию! Не только ведь ультрафиолет и высокочастотное излучение. Генетическая предрасположенность. То же курение. Алкоголь. Питание. Мутации в ДНК. О, если б можно было словом остановить рак! Уговорами. Молитвами. О, если б можно!

Во время своей весенней прогулки я незаметно для себя дошел до следующей станции. Еще совсем недавно то была тихая деревянная пригородная платформа, где с электрички сходили три-четыре дачника. Но лет семь назад, в алчном погоне за наживой, девелоперы и власти ринулись застраивать пустоши, оставшиеся с незапамятных времен, по обе стороны железнодорожных путей. Дачники, жившие вокруг, стали выходить на протесты, но единственное, чего добились — запроектированные новостройки в семнадцать этажей заменили четырехэтажками, зато нагромодили корпуса впритык друг к другу.

Квартиры распродали, новые кварталы заселили. Как следствие, у дачников в округе в колодцах пропала вода. Новостройку подключили к канализации незаконно, за взятки, — временами ее прорывало, и округу окутывал смрад.

На тихой станции возвели бетонную платформу, с табло и турникетами, и сейчас, в начале одиннадцатого, десятки, если не сотни людей ждали на ней последнюю перед перерывом электричку на Москву.

Я перешел через полотно на противоположную сторону. Здесь дачники боролись с пришлецами из новых кварталов радикально: все «свои» улицы перекрыли калитками, членам садовых товариществ раздали ключи. Чужим оставалось ходить в свою новостройку

по единственному оставшемуся доступным маршруту — проезжей асфальтовой дороге.

Я тоже потопал по ней в обратную сторону, к дому. Подальше от станции, где пришлецы шастали меньше, дороги все-таки не перекрывались, и я шагал по немощеным дачным улочкам, перепрыгивая особо грязные места и лужи. Слева и справа высились разноцветные и разномастные дачные постройки, от кособоких советских развалюх с ветшающими верандами до трехэтажных горделивых особняков.

Небо было по-весеннему высоким, на нем пухли кучевые облака — сливочно-белые, словно шарики мороженого в кафе, и стремящееся к зениту солнце шпарило уже по-летнему.

Я думал о своем. Сон, увиденный ночью, не давал мне покоя. Да и сон ли то был? Очень все логично, здраво, ясно — во сне такого не бывает, может, и впрямь — явление ангела? И если он дает мне шанс — грех будет его не использовать.

Переменить прошлое. Изменить историю или чью-то судьбу. Спасти. Спасти хоть кого-то. Я опять вернулся на круги своих размышлений.

Я свернул на дачную улицу Королева. Теперь это имя появилось на картах многих населенных пунктов — тем более здесь, неподалеку от подмосковного города, названного его именем. А ведь были у человека все шансы сойти в землю никому не ведомой лагерной пылью, никто бы ни имени такого не узнал и где его могилка, даже родным было бы неведомо. А как результат колымских лагерей: гений, организатор советской космической отрасли, прожил так мало! Пятьдесят девять лет, подумать только! Проработай он на своем посту хотя бы лет на двадцать больше — глядишь, советские люди, а не Илон Маск, сейчас бы Марс осваивали. Да, неудачная операция: академик медицины, министр здравоохранения зарезал на столе Сергея Павловича — который своими ногами пришел в кремлевскую больницу на пустяковое хирургическое вмешательство. Но чем я, к примеру, могу помочь ему — там, в прошлом? Как ту операцию шестьдесят шестого года могу отменить?

Да, может, и не в операции дело, а в общем состоянии ракетного академика? Очень его здоровье подорвало пребывание на Колыме — всего четыре месяца он там провел, но неслучайно те заведения, где он осенью тридцать девятого очутился, лагерями смерти называли.

Семьсот человек трудились вместе с ним на прииске Мальдяк, а за *один только день* той зимой тридцать девятого умирали десять-пятнадцать эков. За одну зиму списочный состав прииска обновлялся почти полностью. На смену присылали новых заключенных.

Когда в августе бодрый тридцатидвухлетний эка Королев прибыл на прииск — семьсот километров от Магадана вглубь материка, — по утрам выбегал из палатки делать зарядку. А уже в декабре того же тридцать девятого его приятель, бывший директор авиазавода Усачев — а в тот момент авторитетный ээк, — нашел его совершеннейшим доходягой, лежавшим под грудой тряпья и не встававшим с нар: Королева почти добила ужасное питание, каторжный труд и нехватка витаминов. Из-за цинги семнадцати зубов лишился Сергей Павлович в ту зиму.

Может, если б не тот арест и, главное, рудники, Королев дожил бы не до шестьдесят шестого года, а до восемьдесят девятого? Как дожил его друг начальных лет, и тоже сталинский сиделец, и тоже будущий ракетный академик Глушко? Всем ведь была похожа на королёвскую судьба Глушко — и арест, и следствие, — да только тот из тюрьмы сразу попал в шарашку, где занимались умственной работой и спали на простынях. А Королеву для начала выпала Колыма — и в итоге он на четверть века раньше своего друга-соперника Богу душу отдал.

Может, броситься, через толщу лет, в тридцать восьмой год, к тридцатидвухлетнему, молодому и красивому ракетному инженеру Королеву, пока его еще не арестовали, и убедить, уговорить, упросить: бросить все — семью и маленькую дочку, да и любимую работу, — уехать куда-нибудь в глушь, на шахту, на рыболовецкий сейнер или на стройку. Не один и не два мы знаем теперь таких случаев — люди, почувствовавшие в тридцатые, что кольцо сжимается, убегали, и репрессивная машина их не искала. И в итоге они выживали. Разве он не видел, Сергей Павлович, что снаряды падают совсем рядом: арестованы руководители Ракетного института Клейменов и Лангемак, уже взяли того же Глушко — почему же он сидел и чего-то ждал? О, эта прекраснодушная песня тогдашних честных людей: «Ведь я ни в чем не виноват! Органы зря не сажают. Разберутся, невиновных выпустят». И как втолковать им — что сажают-то именно невиновных? И цель властей — не разобраться или наказать преступника, а уничтожить все живое, чтобы оставшимся внушить страх и покорность.

Значит, Королев? На него израсходовать свою «ангельскую попытку»? Но мне вдруг подумалось: а вдруг в судьбе Сергея Павловича и без меня кто-то уже устроил всевышнее вмешательство? Ведь само колымское спасение будущего главного конструктора выглядело настоящим чудом — уж не помог ли здесь *ангел*? Сперва зэка Усачев, который сумел поставить себя в авторитете и среди воров, и перед лагерным начальством, переводит будущего ракетного академика в лазарет, и там его отпаивают, спасая от цинги, картофельным да капустным отваром. А потом зэка Королеву приходит из Москвы вождеденный вызов на пересуд. И его отправляют одного, без конвоя — с прииска Мальдяк назад, в Магадан: куда он сбежит в заснеженной пустыне!

Стужа, ветер, минус тридцать-сорок-пятьдесят. Какая температура была в ту зиму на Колыме? Одно известно: было плохо. Ватник, чуни, и впереди семьсот верст пути. И сначала Королеву попадаетесь водитель полуторки — который едет один, поэтому сажает путника не в ледяной кузов, а в относительно теплую кабину. Потом, на остановке — и это реальным чудом выглядит! — будущий академик и творец космических побед вдруг находит у колодца буханку свежеспеченного хлеба. И, конечно, эта буханка спасает его, больного, оголодавшего.

Королев спешит в Магадан, чтобы успеть на последний в навигацию теплоход «Индибирка». Ведь если он не успеет на него, не уплывет во Владивосток — зимовать ему на Колыме до тех пор, пока не откроется навигация снова. А в лагере, зимой, пусть не на прииске, а в Магадане, бог знает что с ним может случиться.

Но Сергей Палыч опаздывает на «Индибирку». И тоже — не вмешательство ли ангела-хранителя помогло? Потому что «Индибирка» гибнет в проливе Лаперуза. (Капитана потом расстреляют — принял сигнал японского маяка за наш). Некоторые «вольняшки» еще спасаются, а зеки, которые в трюмах, гибнут все — семьсот сорок один человек.

Бодрым шагом я дошел к близлежащей к дому станции. «Как же можно так, — думалось, — издеваться над собственным народом — да ведь никаких ангелов не хватит, и целого ангельского батальона!» А потом вдруг как ударило изнутри: «Королев-то ладно! Королев-то жив остался! У него, и верно, свой ангел был! Свой, собственный, близкий ему! А ведь у меня, в семье есть и свой мученик, которого надо спасти! Которого я могу оградить от неминуемой смерти!»

С самого детства моя бабушка рассказывала мне про собственного любимого братика по имени Владислав, Владик. Еще бы она его не любила — старший брат, два года разница.

«Танечка, — спрашивал он ее в темные годы революции, — ты за кого, за большевиков?» — «А ты, Владик?» — «Я-то за большевиков!» — «Тогда и я тоже!»

Такое вот было семейное предание — возвышающее коммунистов, да ведь и Владика тоже. Он был, по словам бабушки, светоч, умник, образованнейший и рассудительный. Красавец, уехал из провинциального Краснодара, поступил на биофак Ленинградского университета. Стал генетиком, вел исследования в области наследственности и влияния генов на заболеваемость, был распределен после вуза в соответствующий ленинградский НИИ. Защитил диссертацию — одним из первых в СССР (звание кандидата наук восстановили в тридцать четвертом), женился, родил сына. Впереди высокая карьера, служение стране и людям.

Ан нет, в тридцать седьмом его *взяли*. Никто не знал, за что.

Потом однажды перестали принимать передачи и семье объявили приговор — как и все в этой истории ложный: «Десять лет без права переписки». Его жену, Талочку, как все в семье ее называли, тоже арестовали, выслали в Казахстан, как ЧСИР — «член семьи изменника родины». Только сына, трехлетнего Юрочку, удалось вырвать из безжалостно прожорливой машины: его усыновила домработница.

Талочка вернется в Краснодар к сыну Юрочке через пять лет, в самую войну: без единого зуба и навсегда угасшая, потухшая.

Владик не вернется никогда. Когда начнется хрущевская реабилитация, в пятьдесят шестом пришлют бумагу: «Незаконно репрессирован, реабилитирован посмертно». И новое, почти невинное, по сравнению с прошлым, вранье: скончался в 1941 году в тюрьме. Хоть какое-то утешение для его матери, еще живой тогда, для сестры (моей бабушки) и выросшего к тому времени сына Юрия (вдова Талочка быстро умерла): все-таки не расстреляли, все-таки умер хоть в тюрьме, но *сам*!

И уж только совсем потом, поздно-поздно, при Горбачеве, появились новые, окончательные документы: осужден по статьям 58-8, 58-10, 58-11 такого-то декабря 1937 года. В тот же день расстрелян. Место захоронения неизвестно.

Когда я эти данные разыскал при помощи «Мемориала», бабушке не стал даже говорить. Она жива была, но слишком старенькая, зачем ей нужна была эта правда...

Если дадут мне возможность кого-то спасти — пусть это будет он!

Весеннее солнце поднялось уже совсем высоко и даже начинало припекать. На близлежащей к дому станции стало меньше народа — основные рабочие потоки в столицу ушли, в электричках перерыв. Тот алконавт, что стрелял у меня денег, куда-то делся — видно, добрал потребное. Другой мужик, пожилой, лысый, мотался по площади и вещал в прицепленный у рта микрофон: «Открылся новый магазин! Великолепная, нежная грудинка и корейка! Вкуснейшая сырокопченая колбаса! Заходите, отведайте!»

И сразу есть захотелось. По лужам, льду и снегу, по нерастаившей дачной улице я устремился к дому.

Жена в куртке сидела на террасе, грелась в лучах солнца с прикрытыми глазами. Обернулась на стук калитки, улыбнулась: «Ванечка! Долго же ты гуляешь!» А когда я подошел к ней, вскочила и повлекла меня за руку: «Пойдем!»

На солнечной полянке, там, где снег почти растаял, на бурой и скучной земле, сплошь затянутой пожухлой, умершей травой, вдруг проявились нежные, сиреневые, трепетные крокусы.

— Какая прелесть! — восхитился я. И впрямь прелесть: первые живые цветы наступающей весны, как непреложное свидетельство, что зима миновала, пасха наступила и впереди еще многое в этом году станет цвести и нас радовать.

— Ты завтракала?

— Конечно. Тебя покормить?

— Спасибо, я сам.

Но прежде, чем усладить себя пищей, я поднялся в кабинет, вышел в интернет и еще раз проверил данные «Мемориала» на моего двоюродного деда Владислава Дмитриевича Коломийцева: научный сотрудник Ленинградского НИИ онкологии, адрес: Ленинград, Некрасова, сорок два, квартира восемь. И — дата ареста, дата приговора, дата расстрела.

И это было все, что от него осталось. И мама его (моя прабабушка, которой я почти не помню), и жена Талочка, и бабушка моя Татьяна Дмитриевна уничтожили все его письма, все его фото. Боялись.

Я спустился вниз на кухню. Отрезал себе добрый кусок кулича — он уже стал засыхать, черстветь, намазал его сливочным маслом и

очистил два крашенных луком и освященных в великую субботу яйца. Сделал себе кофе с молоком. Приятно было продолжать разговляться после семинедельного поста.

Жена осталась в саду, разматывать, высвобождать из-под зимнего лутрасила розовые кусты.

Я наелся и поднялся к себе в кабинет. Спать вдруг захотелось ужасно, и почему-то казалось важным заснуть именно у себя в комнате, где встретил меня во сне ангел. Скинув одежду, я устроился под пледиком и мгновенно провалился.

Сначала был очень глубокий сон — как черная угольная шахта, без картинок и видений, — а потом я вдруг понял, что прекрасно выспался и пора вставать, и вроде бы даже открыл глаза, и стал приподниматься с дивана, но, очевидно, это продолжался сон, потому что за моим столом в потертом кожаном кресле снова сидел, полуобернувшись ко мне, давешний седовласо-лысый старичок, озарял кабинет доброй своей улыбкой и сиянием своей персоны.

— Я вижу, ты все решил, — сказал он ласково.

Я поднялся с дивана и подошел к нему. Он тоже привстал с кресла и положил свою руку мне сверху на череп, словно благословляя. Ладонь его оказалась легкой, прохладной и нежной.

— Будь осторожен, — продолжил он. — Теперь это будет не сон, а все наяву, на самом деле. И ты точно также при этом можешь пострадать, как и в обычной жизни. Впрочем, с тобой проведут подробный инструктаж.

И сразу, немедленно он стал исчезать, да и вся декорация переменилась — и общее ощущение оказалось совершенно не как во сне. Во сне ведь ты не видишь деталей, сосредоточен на главном действии, которое с тобой происходит, а все остальное расплывается, теряется, размывается.

Но теперь я видел все — до мельчайших подробностей, до потрескавшегося бетона у меня под ногами, до ламп неоновой освещенности, тянувшихся по бетонному потолку, которые были по промышленному затянуты в сетчатые панцири.

Вместе с неким сопровождающим мы шли по длинному бетонному коридору, похожему на подтрибунное помещение, какие приняты были на старых стадионах — вроде бы по таким, ничем не украшенным коридорам выходили в фильмах прошлых лет на матч атлеты. Однако в отличие от стадиона в этом коридоре светили уже

упомянутые мной лампочки в оплетке, а по стенам, словно в тоннеле метро, змеились несколько толстых кабелей.

Тоннель оказался длинным, он чуть изгибался, и мы по нему целеустремленно шагали вдвоем — но не с тем светящимся человеком, который благословил меня — нет, то был совсем другой: бритый, сухой, холодный, деловитый. Он был одет в костюм, но без галстука, а из наружного кармана его пиджака торчали несколько авторучек и карандаш. Чем-то он напоминал конструктора, ученого-шестидесятника, персонажа роммовского фильма «Девять дней одного года» — да и антураж вокруг выглядел к тому давнему кино подходящим. По пути этот сопровождающий меня инструктировал:

— Вы одеты и экипированы сообразно той эпохе, в которую вы отправляетесь.

На ходу я оглядел себя самого. И впрямь: надеты на мне оказались черные, довольно кондовые ботинки, парусиновые широкие штаны и спортивная блуза с дырочками и шнуровкой на вороте — примерно, как у девушки в футболке со знаменитой картины Самохвалова. Только моя блуза оказалась однотонной, серой и с длинными рукавами. А на голове — я пощупал — кепка. Мой спутник продолжал:

— У вас есть деньги, имевшие хождение там и тогда — впрочем, немного, пропитаться день-два вам хватит, но не больше.

Я залез в правый карман и обнаружил пачку разноцветных рублей — подобных я в своей жизни не встречал, только в музеях: разноцветные пятерки и трешки с виньетками, сценами труда и без портретов вождей.

— Если залезете в другой карман, найдете документ на ваше имя — практически как подлинный, способный пройти любую тамошнюю проверку, но попадать под нее и терять на нее время я вам категорически не советую. Где остановиться и переночевать — это ваша проблема, вы можете снять угол или даже обратиться в гостиницу, но я настоятельно рекомендую вам решить все ваши задачи на протяжении дня. Никаких связников и помощников на месте у вас не будет, никто в той эпохе не имеет о вас и о вашей миссии ни малейшего представления. Попадете на чем-нибудь, проколете — станете еще одной жертвой охватившей ту эпоху шпиономании. Поэтому берегите себя. Теперь о возвращении. Как только вы захотите прервать свою миссию — по причине того, к примеру, что вы считаете ее выполненной или сочтете, что вашей жизни будет угрожать

фатальная опасность, — вы можете подать сигнал об эвакуации. Мы постараемся вытащить вас немедленно, но буду откровенен: нам не всегда это удастся произвести мгновенно, и порой испытатель, попавший в трудную, опасную ситуацию, должен там, в поле, выкручиваться сам. И, буду совсем честен перед вами, но выйти сухими из воды удастся не всем. Да, случаются жертвы. А также те, кого нам так и не удастся вытащить из прошлых эпох, — невозвращенцы. Еще раз замечу: то, что будет происходить с вами на месте, — будет совсем не сном, из него нельзя будет выскочить, просто проснувшись. Путешествие будет опасным — поэтому вы можете от избранной вами миссии отказаться. Итак?

— Нет, я хочу продолжать.

— Прекрасно! Теперь нам остается придумать кодовое слово, которое вы должны будете произнести, когда завершите миссию или в случае угрожающей вам чрезвычайной опасности. Надо что-то, что не используется в обычной жизни, что вы не произнесете вдруг случайно.

— «Брависсимо», — сказал я. — Пусть кодовое слово будет «брависсимо».

— Что ж, — он пожевал губами и повторил его, примеряя на вкус. — Будем надеяться, что вы не отправитесь там в театр и не станете вслух восторгаться постановкой.

Коридор, по которому мы шли, заканчивался. Он перестал закругляться, пошел по прямой, а впереди, там, где он завершался, сиял какой-то сильный, даже ослепительный свет и раздавался машинный гул — словно бы гудение многочисленных мощных трансформаторов. С каждым нашим шагом гул становился все громче, а свет впереди — все ярче.

— И вам следует помнить: изменения, которые вы собираетесь произвести в прошлом — они необратимы. И они совершенно обязательно приведут именно к тем последствиям, на которые вы рассчитываете. Возможно, эффект наступит противоположный, нежели тот, на который вы рассчитываете.

— Спасти чью-то жизнь — всегда благо.

— Э, не скажите! — засмеялся мой спутник. — А если спасенный вами человек изобретет некое смертельное оружие? Или станет новым Гитлером или Пол Потом?

— Мой не станет.

— Впрочем, не будем предаваться схоластическим дискуссиям. Хочу только сказать, что насильственные изменения в прошлом порой дают непредсказуемые результаты, и, главное — они необратимы.

— Но вы-то знаете, *что* я хочу совершить? И если меня в прошлое отправляете — значит, одобряете это?

— Никто всех последствий просчитать не может, — туманно ответил сопровождающий.

И тут мы наконец оказались у цели. Перед нами предстал гигантский и очень ярко освещенный зал. Его купол простирался куда-то вверх, словно цирк. Центральное положение в помещении занимало огромное, метров в десять вышиной, кубическое сооружение. Именно к нему подползали по полу те кабели, которые шли в коридоре, но подобных коридоров, выходящих в «цирк», оказалось штук семь, и из каждого толстые провода в толстой оплетке змеились в направлении куба. Чтобы о них не спотыкались, поверх кабелей были устроены деревянные отмостки, по которым можно было перешагивать.

У самого куба, спинами к нам, сидели трое в белых халатах — одна из них женщина. Перед ними расстился (другого слова не подберу, именно расстился) громадный пульт с множеством лампочек, тумблеров и экранчиков, на которых выписывали синусоиды и круги осциллограммы. Пульт выглядел как из недавнего прошлого, из тех же шестидесятых — во всяком случае, ни единого компьютерного монитора перед испытателями не светилось.

Именно куб издавал тот равномерный гул, который мы слышали всю дорогу и который тут, рядом с ним, становился очень громким и почти невыносимым. Венчала куб высокая, метр-полтора, штанга с изоляторами, на которую был насажен нестерпимо блестящий медный шар около метра в диаметре. Еще одна штанга вырастала прямо из бетонного пола метрах в семи от нее. На ее макушке, на одной высоте с первым, сиял еще один шар точно такой же величины. А между этими сияющими колобками размещалось кресло — настоящий ложемент наподобие тех, в которых стартуют космонавты. Кресло было накрыто прозрачной пластиковой крышкой. К нему вела основательная, широкая алюминиевая лестница. Мы подошли к ее изножью. Лестница напоминала зиккурат, Вавилонскую башню, лестницу Иакова.

— Скажите, что это? — спросил я у спутника. — Где мы?

— Это? Совершенно секретный НИИ темпоральных исследований. Находится в закрытом городе Печоры-двенадцать.

— Никогда о таком не слышал.

— Правильно. Потому что это реальность, параллельная вашей. Здесь все тот же две тысячи двадцать первый год, только сохранился Советский Союз, и исследования в области путешествий во времени увенчались успехом... Впрочем, у нас мало времени, скоро окно входа закроется, вам пора. Поэтому прошу. — И ученый сделал приглашающий жест в сторону кресла, венчающего зиккурат.

И тут я дрогнул.

— А у вас, простите, несчастные случаи на стройке были? — от смущения и неуверенности я использовал в конструкции вопроса цитату из популярной советской комедии шестидесятых годов. Почему-то показалось, что мой конвоир так лучше поймет.

— Что вы имеете в виду? — непонимающе нахмурился эскортер.

— Давала ли сбой ваша замечательная техника? И испытатель вдруг оказывался не в том времени, куда стремился? Или его вовсе, — короткий смешок, — испепеляло?

— Вероятность фатальной аварии составляет две тысячных процента.

— Значит, шанс на успех — девятьсот девяносто восемь из тысячи?

— По статистике, именно так. Вы желаете отказаться?

— Нет уж. Шансы хорошие. Давайте начнем, раз пришли.

Он повторил приглашающий жест в сторону лестницы и кресла. Я пошагал первым, он за мной, а следом из-за пульта встала женщина. Я увидел ее лишь краем глаза, и она показалась мне молодой и очень красивой.

Мой провожатый распахнул передо мной плексигласовый фонарь и молвил: «Прошу». Я неловко стал укладываться. Женщина поднялась за нами к ложементу, и, да, она выглядела прекрасной, и еще от нее необыкновенно пахло — какой-то забытый запах из молодости: тех французских духов, которые каким-то чудом проникали в СССР, что-то легкое, вроде «Диариссимо». А, может, то была и вовсе «Красная Москва».

Когда я устроился в кресле, женщина наклонилась ко мне — ее прелестность оказалась совсем близко, и почти ослепляла, и оглушал запах ее парижских духов. Она застегнула на мне ремни безопасности, тянущиеся, как у летчика, крест — накрест. Никаких датчиков на теле закреплять не стала.

— Вас слегка потрясет, — деловито сказала она, — потом будет кратковременная невесомость, а затем потеря сознания. Не пугайтесь, все чувства скоро вернуться. — И она коротко, но очень интимно погладила меня ладонью по щеке.

Но мой первоначальный спутник уже закрывал надо мной крышку. Перед тем, как захлопнуть, крикнул: «Ну, с богом! Поехали!»

Никакого не последовало финального отсчета. Мне показалось, что ни мой провожатый, ни женщина даже не успели спуститься вниз. Вдруг что-то нестерпимо блеснуло, словно молния, раздался адский взрыв, будто бы рушилась до небес построенная башня, и я, как мне показалось, полетел куда-то. Все вокруг фонаря заволокло плотным туманом — словно бы самолет попал в сплошную облачность, и я понесся в неизвестном направлении, испытывая восхищительное чувство невесомости, — но притом я не чувствовал и страха перед тем, что впереди мне предстоит падение и каким оно будет? На всякий случай я собрался, напряжинил все мышцы, и...

И вдруг кто-то потряс меня за плечо.

— Товарищ! Товарищ!

Я открыл глаза. Передо мной стояла полная дама в форме железнодорожницы. Я сидел на деревянной жесткой скамейке, привалившись к оконному стеклу.

— Вставайте, гражданин, давайте вставать! Приехали! Конечная! — Лицо железнодорожницы было хмурым, но не злым. Рыжую перманентную завивку украшала шапочка старинного фасона с кокардой.

— Да? — воскликнул я. — А что за станция?

По проходу шли люди. Кто-то, услышав мой вопрос, ухмыльнулся. Другой весело воскликнул: «А с платформы говорят: это город Ленинград!»¹

— Спасибо, — пробормотал я и пошел вместе со всеми пассажирами к выходу. Шагнул из электрички на перрон. Точнее, меня доставила на место, как я увидел вскоре, не электричка, а пригородный паровичок. Вагоны были запряжены небольшим паровозом.

Действительность вокруг меня выглядела очень ясной, до мельчайших трещинок на асфальте. Туман бесследно рассеялся.

«Логично, — подумалось мне, — что знакомство с другой эпохой начинается именно с вокзала. Интересно, каждый из тех, что прибывает в чужое время, оказывается на железнодорожной станции? Или

¹ Стихи Самуила Маршак.

в аэропорту? А если в том времени, куда ты стремишься, вокзалов еще нет? Значит, в девятнадцатом веке путешественник попадал на ямской двор? А в веке одиннадцатом — на пристань, куда прибывают ладьи?»

Пожалуй, с тем временем, куда я стремился и где в итоге оказался, экспериментаторы не ошиблись. Люди, что следовали вокруг меня по перрону, одеты были плоховато, бедненько — хотя некоторые не без щегольства. У многих мужчин на шеях галстуки. Большинство в кепках, а женщины в платочках или шляпках. В руках никаких, конечно, полиэтиленовых пакетиков. У кого-то, кто поважней, портфели, у иных бумажные свертки, у третьих, совсем простых, подобия рюкзаков, а то и мешки.

Судя по одежке и яркому солнцу, время стояло летнее. Я в своей легкой блузе спортивного вида ничем из толпы не выделялся, никто на меня удивленно не оглядывался.

На фронтоне вокзала, к которому мы подходили, красовался украшенный зеленым лапником и ленточками огромный портрет Сталина. Ниже тянулся кумачовый лозунг: «Да здравствует великий машинист локомотива революции, наш родной любимый товарищ СТАЛИН». Я улыбнулся про себя велеречивому славословию, но тут же огляделся: не заметили ли мою ухмылочку? Если я попал именно в тот год, куда стремился, за такое здесь можно очень свободно и на Колыму отправиться: «Вы почему ухмылялись? Вы над товарищем Сталиным смеялись?» — «Да нет, что вы, я своим мыслям!» — «Мыслям?! Каким еще мыслям? О чем вы подумали, а?!» — и бац, кулаком в нос. Я поежился и приказал себе быть осторожнее.

На вокзале не оказалось огромного светового зала, как в мои времена, но по каким-то приметам я понял, что вокзал тот, куда я нацелился, — Московский города Санкт-Петербурга, или, точнее, учитывая время моего прибытия, — Ленинграда.

Я вышел на площадь Восстания. Как всегда, близ станции царила суета, люди неслись по разным направлениям. Перед самым вокзалом раскинулась большая стоянка машин: в основном почему-то открытые, длинных. На некоторых флажки «такси».

От Лиговского проспекта дребезжат трамваи, разворачиваются на площади по кругу. На пересечении Лиговки и Невского (вообще-то Невский в ту пору назывался 25-го Октября) делает руками пассы регулировщик в белом кителе и шлеме. Питер не слишком перемене-

нился, и я легко узнал замыкающую площадь гостиницу «Октябрьская». На ней — снова портреты вождей, самый большой из которых Сталин.

А вот удивление: еще жива Знаменская церковь на пересечении Лиговки, Знаменки (или улицы Восстания) и Невского — та, на месте которой сейчас круглый вестибюль метро. И памятник Александру Третьему не снесли, угрюмо он возвышается — «комод, на комод-де бегемот» — в центре площади. Пешеходы курсировали по всем направлениям, и я пошел по брусчатке — давно я не ходил в этом самом месте пешком, с тех пор, как когда-то, в восьмидесятых, здесь был скверик.

Я подошел к памятнику царю: тяжеловесному мужику в кубанке на тяжеловесном коне. Сбоку монументального постамента выбита была грозная и нескладная цитата:

*Мой сын и мой отец при жизни казнены,
А я пожал удел посмертного бесславья.
Торчу здесь пугалом чугунным для страны,
Навеки сбросившей ярмо самодержавья².*

«Да, очень странный оборот: “при жизни казнены”, — подумалось мне. — А как еще бывает? Казнены *не* при жизни? Впрочем, смеяться недосуг, да и опасно, и удивляться тоже — я попал в то время и место, когда революционная сообразность гораздо важнее чувства меры и вкуса».

Трамваи шли по самому центру Невского (25-го Октября) в сторону Адмиралтейства. Если не считать их и Александра Третьего, Питер–Ленинград не слишком переменялся за прошедшие восемьдесят с чем-то лет. Его отстояли в блокаду, спасли от кардинальных большевистских перестроек.

Мимо ограды Знаменской церкви я пошел по улице Восстания. Говорят, церковь долго не сносили, потому что ее прихожанином был нобелевский лауреат академик Павлов. Каждый раз он на ее купола демонстративно крестился. Потом ученый умер, и в начале сорокового года храм взорвали. Старухи шептались: «Быть войне!» — и как в воду смотрели. Впрочем, с нашей историей такая присказка, про грядущую вот-вот войну, оправдывается едва ли не постоянно.

² Стихи Демьяна Бедного.

Великая отечественная, а до нее финская, а после нее корейская, а потом афганская, чеченская. И совсем недавно — донбасская, сирийская...

Дома по улице Восстания практически не изменились — разве что первые этажи украшены оказались смешными вывесками: «Главмолоко», «Ленпромторг», «Росткомбантрест». И никакой промышленной рекламы, естественно. Во многие магазины змеились, начинаясь прямо с улицы, очереди.

Дорожное движение выглядело очень скромно. Порой проезжали легковые форды и «эмки», прогрохотала по бульжной мостовой парочка грузовиков, процокали копытами две или три телеги — они везли почему-то длинные доски. На школе, которая в будущем станет номер двести девять и в ней лет через сорок будет учиться моя жена, висел кумачовый лозунг: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство».

Можно было не бояться: дом номер 42 по улице Некрасова, в котором жил Владислав Коломийцев в 1937 году, сохранился в неприкосновенности. Интересно, что представляет собой его квартира? Коммуналка, наверное. Тридцатидвухлетний советский гражданин, пусть даже кандидат наук, вряд ли мог претендовать на отдельную. В отдельной двухкомнатной, впрочем, жил (в Москве) в тридцать восьмом году Сергей Королев. Да, в квартире маленькой, но отдельной. Но он служил тогда в секретном Ракетном институте. А тех, кто работал на войну, в СССР всегда баловали больше, чем тех, кто трудился за ради здоровья народного.

Впрочем, когда будущего великого конструктора арестовали, комнату, которую он использовал под кабинет, сначала опечатали, потом вывезли оттуда — конфисковали — всю мебель, а сам кабинет отдали другой семье, превратив квартиру в коммуналку... Что ж, скоро я увижу, как страна советов ценила (до ареста и последующей казни) моего двоюродного деда, ученого-генетика.

Судя по освещенности и интенсивности движения, день был будний, и дело шло к вечеру. Впрочем, в то время и не существовало привычных нам выходных по воскресеньям — трудились по непрерывному графику, каждый шестой день для конкретного гражданина выпадал выходным: совершенно не нужно ведь советским людям именно по воскресеньям отдыхать — зачем? Чтобы они в церковь ходили?!

Дом номер 42 по улице Некрасова представлял собой классический пятиэтажный доходный дореволюционный дом, стоящий вплотную, бок о бок, с двумя такими же жилыми постройками. Дом небольшой, всего одна парадная, и вход не со двора, а прямо с улицы. Над входом козырек, подпертый вычурной чугунной решеткой в стиле модерн, и, разумеется, никакого домофона или консьержки.

В парадном оказалось полутемно и прохладно. Попахивало канализацией, керосинками, щами. На этаже располагалось всего по две квартиры — значит, точно коммуналки. Я поднялся на четвертый этаж. Из двери квартиры номер 8 торчал механический звонок, с латунной надписью вокруг него, исполненной с дореволюционной вежливостью: «ПРОШУ КРУТИТЬ». А ниже — прибит список, аккуратно, по линейке, каллиграфическим почерком расписанный и обрамленный в изящную крашенную рамочку:

«БЕРШТЕЙН — один раз;
СМАЙЛОВИЧИ — два раза;
ИВАНОВЫ — три раза...»

И таких — восемь фамилий, и на предпоследнем, седьмом месте, искомая: КОЛОМИЙЦЕВЫ.

Звонить им полагалось семь раз.

Возможно, те, кто вскоре придут сюда ночью за моим дедом, тоже будут крутить эту рукоятку семь раз — чтобы не беспокоить прочий трудовой народ. А, возможно, просто, наводя ужас на всех подряд, забарабалят в дверь.

Я покрутил рукоятку — звонок отозвался дребезжанием, похожим на то, как трещит велосипедный. Довольно быстро дверь открылась. Передо мной предстала женщина, которая держала на руках карапуза лет двух. Она вопросительно смотрела на меня.

— Вы к кому?

Наверное, то была та самая тетя Талочка, жена моего двоюродного деда, лишившаяся в лагере всех зубов и умершая задолго до моего рождения. А мальчик у нее на руках — мой будущий дядюшка Юра. Я никогда не видел раньше фотографий Талочки, но почему-то безошибочно понял, что это она — ее отличали красивое, породистое лицо с тонкими чертами и длинные, тонкие музыкальные пальцы, которыми она держала малыша. Наверное, сама эта тонкость черт

и пальцев была вызовом для окружавшей ее действительности, источником раздражения, с которым система, в конце концов, не смирилась и заморила ее в казахстанских лагерях.

Слава богу, моя собственная повадка и внешний вид здесь, в СССР-1937, не могли вызывать подозрений, потому что аристократическая кровь моей бабушки и дяди Владика разбавилась потом довольно сиволапым моим дедом, за которого бабуля вышла, а потом, еще раз, моим отцом из крестьян — поэтому выдался я в итоге коротконог, короткопал, и сложение я имел самое приземленное. К счастью, тут не подозрительное.

— Владислав Дмитриевич дома? — спросил я.

Малыш у Талочки на руках таращился на меня удивленно и сурово. Он, видать, недавно плакал, и лицо его было разгоряченное, красное.

— Он на службе. А что вы хотели?

Ответ у меня был приготовлен:

— Вам привет из Краснодара. От сестры его, Татьяны Дмитриевны. Женщина просияла:

— От Танечки? Да вы проходите! Вы только приехали? Пойдемте! Я напою вас чаем!

— Нет-нет, приехал я в Ленинград давно, и сегодня в ночь снова уезжаю, но мне непременно надо поговорить перед отъездом с Владиславом Дмитриевичем.

— Пойдемте. Посидим у нас. Юрочка вас не беспокоит. Он хороший и послушный мальчик. Верно, Юрочка?

Мы стояли в дверях, ведущих в квартиру. За спиной женщины угадывался длинный, уходящий вдаль коридор. Там шла обычная коммунальная жизнь, чем-то съестным, не высшего гастрономического пошиба, чуть ли не корюшкой, несло с кухни, и бубнило радио. Какая-то старуха высунулась из одной из комнат и пристально посмотрела на нас, вслушиваясь в беседу.

Передо мной встала дилемма: можно было уйти и покараулить дядю Владика возле дома. Тем более, разговор наш с ним явно не предназначался ни для каких посторонних ушей, включая Талочку. Но маячить на улице в охваченной шпиономанией стране было опасно — любой дворник или бдительный гражданин живо приведет ко мне милиционера. Да и пропустить я запросто мог свою цель — особенно тут, в Ленинграде, с его системой проходных дворов и черных

лестниц. Владик мог прийти к себе в парадную откуда угодно, с любой стороны.

И я согласился зайти.

Комната, в которую меня провела Талочка, располагалась ближе всего к входной двери. Площади в ней было не более десяти метров, максимум двенадцать, — зато потолки высоченные. В этой кубатуре располагалась, в нише под окном, родительская кровать — сейчас застеленная покрывалом. Перпендикулярно к ней, так, чтобы ночью можно было, не вставая, протянуть руку и успокоить младенца — железная детская кроватка с шарами на спинках. А еще — круглый стол, вплотную придвинутый к супружескому ложу, и два венских стула с гнутыми спинками и ножками. Над столом свисала лампочка — в качестве абажура на ней была накручена газета. Довершила скромную обстановку сколоченная из досок книжная полка. Заставлена она оказалась в основном научными трудами, по биологии, медицине, химии — притом, как минимум половина на немецком. «Немецкий язык станет еще одним камешком в обвинение о троцкистско-фашистском заговоре», — подумал я.

Над полкой, на изрядно потертые, дореволюционные обои было приклеено две фотографии: на одной — Талочка и дядя Владик рядом (я впервые увидел его), молодые, счастливые, веселые, красивые. А чуть выше над ними вырезанный из журнала фотографический портрет Сталина — он, снятый снизу вверх, простирал вдаль руку, словно памятник, и выглядел титаном. «Здесь-то, дома, никто не заставлял его вешать, это порыв души», — подумал я.

— Я напою вас чаем, — не спуская с рук Юрочку, проговорила Талочка. Она схватила со стола чайник. — Нам подарили баночку крыжовенного варенья. Юрочка болел, но вы не волнуйтесь, температура спала, и он совсем не заразный — да, Юрочка? — И она умчалась по коммунальному коридору с ним и чайником в руках.

Окно выходило во двор. На подоконнике теснились пара кастрюль, несколько стаканов, сахарница. Столовые приборы торчали из литровой банки. Все здесь, в комнате, дышало бедностью, но чувствовалось, что ее никто не стыдится, почти не замечает и все живут совсем другими интересами, чем богатство или хотя бы комфорт. И эти люди в этой обстановке органичны и даже счастливы — и вот такое незатейливое счастье кому-то понадобилось разрушить, затоптать, раздавить. Ради чего? Ради еще большей покорности народа?

Или ради этой двенадцатиметровой комнатки, в которую вселится, конечно, после ареста, животрепещущий претендент?

Вскоре красавица вернулась, пересаживала юнца в кроватку, дала ему пару детских книг. Чайник пыхал паром. Талочка расставила стаканы, сахар, крыжовенное варенье. Нашлось даже блюдечко.

Талочка начала меня расспрашивать: «Как Краснодар, как Танечка, как Игорь? — Игорем звали моего родного деда, мужа бабушки. — Как Ксения Илларионовна?» Ксенией Илларионовной величали мою прабабушку, маму Владика и Танечки, или Талочкину свекровь.

В ответах я откровенно плавал, мычал что-то малораздельное. Я не знал, что рассказывать: знают они, не знают, что как раз бабушка моя в это время беременна моей будущей мамой. Или, может, это оставалось до поры семейной тайной? Захотелось даже выпалить, что они-то, Танечка и Ксения Илларионовна, в порядке и выживут и сейчас, когда кругом репрессии, и в большую войну, и проживут еще десятки лет, и состарятся, и умрут совсем пожилыми — в отличие от вас.

Но вместо этого, памятуя, что лучшая защита — нападение, стал выпрашивать, как дела у Владика, работает ли он над докторской, какие у него перспективы в его научном институте. Талочка рассказывала о муже с любовью; ее лицо светилось; видно было, что она восхищается супругом и всем, что тот делает.

Вдруг заскрипела, открываясь, дверь в квартиру. Талочка вскочила: «Это Владик! Я узнаю его шаги!» И в самом деле: через минуту на пороге комнаты возник Владислав Дмитриевич. Он одет был в пиджак и галстук, с портфелем в одной руке и кепкой в другой. Юрочка, уже предупрежденный волнением матери, вскочил в кроватку и потянул к отцу руки. «Владик! Как ты рано!» — воскликнула Талочка. А муж и отец, одной рукой приобнимая супругу, а другой — Юрочку, удивленно уставился на меня.

— Это Иван Иванович, — отвечая на невысказанный вопрос, представила меня его жена. — Он из Краснодара, привез нам привет от Танечки и Ксении Илларионовны.

Лицо Владислава Дмитриевича просияло.

— О, Танечка! Как там она?

Я опять промямлил что-то несусветное, потому что понятия не имел, знали ли в то время в семье Владислава Дмитриевича о беременности моей бабушки? Или о том, к примеру, что ее после окончания меда распределяют работать на Урал?

Я тоже встал навстречу дяде Владику, пожал его тонкую, узкую руку.

— Мне с вами нужно срочно поговорить. Спешно и наедине.

Его лицо мгновенно побледнело.

— Что-то с Танечкой? С мамой — Ксенией Илларионовной?

— Нет-нет, не беспокойтесь! С ними все нормально! Разговор пойдет совсем о другом, но это, поверьте, дело жизни и смерти.

— У меня нет секретов от Талочки, — растерянно проговорил он, оглядываясь на жену.

— Вы расскажете ей все сами — если сочтете нужным. Но позже.

— Простите, уединиться нам с вами здесь решительно негде.

— Здесь и не нужно. Пойдемте пройдемся.

— Может, сначала ужин? — вопросительно глянула на мужа Талочка. — Ты ведь голоден? Опять не обедал?

— Что ты, Талочка! — с фальшивой бодростью воскликнул Владислав Дмитриевич. — Я прекрасно подхарчился в институтской столовой. Идемте? — обратился он ко мне.

Юрочка, поняв, что чужой дяденька собирается увести его замечательного папу, залился слезами, Талочка бросилась его утешать. Я воспользовавшись заминкой, взял за локоть Владислава Дмитриевича и повлек к двери.

— До свидания, — бросил, не оборачиваясь.

— Мы вернемся к ужину, — проговорил Владик.

Я возвращаться сюда больше не собирался.

Когда мы вышли на улицу, день клонился к вечеру, но солнце, баловавшее ленинградцев белыми ночами, стояло еще высоко. Мы пошли по правой стороне Некрасова, по направлению к Литейному, или, как он здесь назывался, проспекту Володарского. И дневное светило временами, на пересечении с перпендикулярными улицами, ослепляло нас своими лучами, а временами скрывалась за громадами домов. Я не стал терять время на долгие предисловия, на то, чтобы, как принято было в романах девятнадцатого века, «подготовить» собеседника.

— Хотите верьте, — сказал я, — хотите нет, я — родной внук вашей любимой сестры Танечки, и я появлюсь на свет через двадцать три года. Но я, кстати, никогда не встречусь с вами, потому что вы скоро умрете, вот прямо сейчас, в самом конце текущего тридцать седьмого года.

Он уставился на меня, мгновенно побледнев. А я влек его по улице дальше, рассказывая все открытым текстом, без утайки: арест, следствие, приговор, расстрел. Талочку выплют в Казахстан, Юрочку удастся спасти от детского дома. Талочка вернется вся больная и без зубов, а у Юрочки вся юность будет искалечена, потому что он будет числиться сыном врага народа.

И еще я сказал:

— Когда вас здесь арестуют и увезут в «большой дом» на Литейном-Володарского, ваша Талочка даст нашим, то есть моей бабушке Тане и прабабушке Ксении Илларионовне, телеграмму: «Владиду пришлось срочно уехать». Они все поймут, что случилось, и от переживаний у Танечки раньше времени начнутся роды, и появится на свет моя мама — Катя.

— Боже мой, — проговорил он, — такое невозможно придумать... Это невероятно... Это похоже на бред — но почему я верю вам?

— Потому что я говорю чистую правду.

Все время я следил, чтобы никто не слышал наш разговор, не шел за нами, не притормаживал впереди.

— Но за что?! — воскликнул Владик. — За что меня арестовывать? Я же ничего не сделал плохого! Я же ни в чем не виноват!

— Никто ни в чем не виноват, — сказал я. — Но вы же видите, как всех сажают. И в газетах читаете. Что расстреляли Тухачевского, Якира, Блюхера — они тоже ни в чем не были виноваты, и их тоже, как и вас, пройдет время — реабилитируют. Но — посмертно. Их жизни будут загублены. Как и ваша.

— Но что же делать?!

— Есть очень хороший план. И знаете, Владислав Дмитриевич, он, этот план, — работает. Не один и не два, а если сосчитать — сотни людей так спаслись. В моем времени об этом хорошо знают.

— Не вижу никакого выхода. Телеграмму дать Сталину?

— Это не работает... Тут другое. Вам надо прямо сейчас — причем не заходя домой — идти на вокзал. И немедленно уезжать. Куда-нибудь далеко. На Урал, в Сибирь, на Дальний Восток. Устраиваться на работу — на самую обычную, непрестижную и не связанную ни с наукой, ни с идеологией, чтоб не стали проверять: грузчиком, возчиком, землекопом.

— И что же, меня не станут искать? — скептически переспросил он.

— Не станут, — отрезал я. — У них там, в НКВД, план по количеству посадок. И если одна единица ускользнет, то, как ни цинично

это звучит, они пойдут и возьмут другую единицу. Другого человека, который тоже, как и вы, ни в чем не будет виноват.

— Какой кошмар, — прошептал он.

Мы дошли до Володарского (Литейного). Тут движение было более интенсивным. По проспекту бежали трамваи и даже троллейбусы.

— Ну, — требовательно спросил я его, — куда мы идем? Направо, на Финляндский вокзал, или налево, на Московский?

— А как же Талочка? — прошептал он. — Ведь они же тогда придут — к ней?

— Нет, не придут. Она ведь и в дальнейшем будет страдать — только *из-за вас*. И в ссылку пойдет, как *ваша* жена. Сама по себе она никому не интересна. Поэтому вам надо спасать и ее тоже. И Юрочку, который иначе получит клеймо «сына врага народа».

— Но ведь у Талочки будут спрашивать, где я!

— Да, могут спросить. А вы ей ничего не говорите. Она и знать не будет, где вы, а, значит, никогда не выдаст.

— Нет, мне хотя бы надо с ней попрощаться!

— Вы и прощаетесь. С вокзала позвоните по телефону-автомату своей любимой Талочке. И скажете ей: прости, дорогая, я встретил другую женщину. И я — уезжаю к ней. Прощай, навсегда. И не ищи меня. И если вы, Владислав Дмитриевич, поедете в Сибирь, жене скажете: уезжаю в Крым. А соберетесь на Дальний Восток, скажете — еду в Молдавию.

— Но это жестоко, — проямлил он.

— Жестоко стать вдовой в тридцать с лишним лет. И отбывать из-за вас ссылку... Пойдемте на Московский. Оттуда есть поезда — в Екатеринбург, то есть Свердловск, в Челябинск. Самое подходящее направление. Вы спрячетесь. И выживете. СССР — страна большая.

Я повлек его в сторону Невского. Как ни хотелось пройтись по советскому проспекту 25-го Октября, мы повернули с моим двоюродным дедом на улицу Жуковского: «Вы наверняка тут знаете проходные дворы, пойдемте к Московскому поскорее».

— У меня даже нет теплой одежды! — отчаянно воскликнул он.

— Не беда. Купите. А на стройках коммунизма вам выдадут телогрейку.

— Господи! Сколько же я времени потеряю в своих исследованиях!

— Зато сохраните жизнь.

Настойчиво и уверенно я дотащил его до вокзала и даже постоял рядом с ним в очереди — все в Союзе делалось через очереди, — пока он не купил билет до Челябинска. А потом торчал рядом с ним подле будки телефона, слушая, как он мучительно объясняется с Талочкой.

— Дорогая, мне нужно срочно уехать... Да, надолго... Не ищи меня... Ничего не случилось...

Он все-таки не смог соврать о «другой женщине». Мне было жаль его, я видел, как тяжело ему дается фальшивить, но я понимал — то, что он делает по моей указке, — во благо.

На прощание он спросил только: «И сколько это все будет продолжаться? Сколько мне скрываться?» Я пожалел его, не сказал, что через четыре года по территории СССР прокатится страшная война и, может, поэтому «органам» станет не до него, и просто соврал: «Недолго, три-четыре года. Вы сами почувствуете, когда сможете вернуться. Все образуется».

Я посадил его, растерянного, в поезд, и даже помахал рукой его бледному лицу в окне.

А когда три треугольных огня на хвостовом вагоне исчезли вдали, глубоко вздохнул и громко проговорил: «Брависсимо!»

И почти сразу, через минуту, плотное облако накрыло меня, подняло, куда-то потащило, перевернуло вверх тормашками и понесло. Пара минут беспорядочного падения, невесомости — а потом тяжелая облачность рассеялась, и я снова очутился в кресле под пластиковым фонарем, плотно пристегнутый. Кто-то откинул колпак. Давешняя женщина, красивая и остро пахнущая старинными и легкими духами, отстегнула ремни. Кое-как я вылез и встал на ноги. И тут раздались аплодисменты.

Хлопали стоявшая рядом со мной дама в белом халате и двое мужчин, поднявшихся на ноги рядом со своим пультом внизу, у подножия куба, и оттуда же, у начала лестницы, чувак, который сопровождал меня по длинным коридорам. Они приветствовали меня и успех моей экспедиции. Я раскланялся, как тенор, на три стороны.

И вдруг в кубе, внизу которого находился пульт, начался звон. Он все нарастал и нарастал, становился все громче, почти невыносимым. А потом...

Я проснулся. У себя в кабинете, под пледиком. Засыпая, я не отключил звук у телефона — он и разбудил меня.

Я взял трубку.

— Алло, — проговорил сиплым со сна голосом.

В телефоне я услышал голос Илюхи. Того самого Илюхи, любимого моего друга, который умер в Израиле четыре года назад.

— Привет, Ванчо, — проговорил он.

Илюха часто называл меня Ванчо, с тех пор как мы узнали, что в Болгарии это — уменьшительно-ласкательное от Ивана.

— Илья, это ты?!

— Я, я! — проговорил он. — Ты что там, спишь средь бела дня, бездельник-сценарист? Ты что, забыл, что мы сегодня в преферанс играем?

— Илюша, а ты разве... — Я хотел сказать: «Ты разве не умер», — но сообразил, что это будет по меньшей мере невежливо и проговорил: — Ты разве не в Израиле?

— В каком еще Израиле! — досадливо выпалил он. — Повторяю для сонных тетерь: мы сегодня расписываем пулю. С тобой и Колькой. Ты же сам нас к себе на дачу пригласил. Ну? Ты уже сходил в магазин? Что мы будем пить?

— А Колька... — в замешательстве протянул я. — Он ведь умер. Двенадцать лет назад. От рака крови.

— Да ты, я смотрю, совсем там, на даче сидючи, рассудком повредился. Да, Колян болел, как раз лет пятнадцать назад и как раз раком крови, но ему сделали прививку, и теперь он — живее всех живых.

— Какая прелесть...

— Так что беги в магазин. Я, если ты не забыл, предпочитаю белое сухое, а Колька — красное.

Оглушенный и удивленный, я поднялся с дивана.

Неужели это все сон? Он продолжается? Чтобы разобраться, я использовал старый дедовский метод: ущипнул себя. Боль я почувствовал — и не проснулся.

Значит, не сон?

Я огляделся. Интерьер моей комнаты не изменился. Все те же книги на полках, беспорядок на рабочем столе, а талмуды, не уместившиеся на стеллажах, валяются на полу и на тумбочке.

Но кое-что стало другим. Фотографии над рабочим столом. Почти все они, впрочем, были те же. Мы с женой, мы с сыном, родители, бабушка Татьяна Дмитриевна с дедом Игорем. Но — добавилась одна. На ней, черно-белой, мы тоже были изображены с женой, и

весь задний план свидетельствовал о том, что мы находимся в Петербурге: подобие садика, а сзади старинные дома дореволюционной складки. Но за нашими с женой спинами — памятник. Чем-то похожий на Менделеева, который стоит у Техноложки. Так же, как Менделеев, чугунный человек сидит у стола. Но при этом вглядывается в содержимое реторты.

Никогда такого памятника я ни в каком Петербурге не видел. Не бывало его там никогда. Я пригляделся внимательнее, и черты памятника показались мне знакомыми.

Боже мой! Да ведь это же он! Он! Владислав Дмитриевич! Человек, которого я только что, в тридцать седьмом году, посадил на поезд Ленинград—Челябинск. Мой двоюродный дедушка. Только он гораздо старше! В бронзе он настоящий патриарх, человек лет семи-десяти, суровый, волосатый.

Да! И надпись на цоколе памятника это подтверждала!

ВЛАДИСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ КОЛОМИЙЦЕВ

А ниже годы жизни:

1904 — 2001

А еще ниже на постаменте было высечено — такими же крупными буквами, как и фамилия:

ЧЕЛОВЕКУ, ПОБЕДИВШЕМУ РАК

